

84/5 (AOPP)

П - 18

ПАРОЛЬ: СВОБОДА!



Blankes  
allen!!

84.6 (Агр) 112

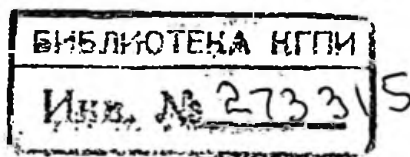
# ПАРОЛЬ: „СВОБОДА!“

Рассказы  
писателей  
ЮАР

Перевод  
с английского



МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1984



## Предисловие

Настоящий сборник составлен из рассказов видных южноафриканских писателей.

ЮАР (так сокращенно называют Южно-Африканскую Республику) — последний оплот колониализма в Африке. Все африканские народы скинули вековое рабство и обрели самостоятельность, лишь в ЮАР и в незаконно оккупированной с/ю Намибии белое меньшинство продолжает угнетать коренное население.

Как могло случиться, что посреди рухнувших колониальных режимов громоздится в сегодняшнем времени чудовищным анахронизмом глыба белого расизма?

Триста лет назад голландские фермеры — буры, поселившиеся на землях африканцев, создали сперва республику Наталь, захваченную англичанами в 1843 году, а затем республики Трансвааль и Оранжевую. В течение веков они эксплуатировали местное население и одновременно яростно сопротивлялись вторжению английских колонизаторов. В годы англо-бурской войны (конец прошлого — начало нынешнего века), когда в Европе и в России пели грустную песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горюшь в огне», буры вызывали сочувствие, выглядели борцами за правое дело. Они проиграли войну, страна стала английским доминионом.

После второй мировой войны, когда начала распадаться британская колониальная империя, к власти снова пришли буры, теперь называемые африканерами.

Крайние реакционеры и националисты создали тот чудовищный режим угнетения, насилия, забвения всех правовых норм, который поставил ЮАР вне рамок мировых связей — культурных, научных, спортивных, поставил вне рамок олимпийского движения.

На чем же держится режим белого меньшинства? Он находит твердую опору среди южноафриканской буржуазии, разбогатевшей на эксплуатации черных и цветных. А капиталистическим государствам Европы и Америки очень хочется торговать с богатой ЮАР, занимающей одно из первых мест в мире по добыче алмазов, золота, платины. И все принципы справедливости, нравственности, человечности меркнут перед соблазном выгодной торговли. В этом причина «устойчивости» расистского режима.

В последнее время население страны резко усилило борьбу против угнетателей: от митингов протеста дело переходит к жестоким столкновениям, звучат выстрелы, льется кровь. Режим белого меньшинства, как бы ни цеплялись расисты за чужие богатые земли, исторически обречен.

Тема открытой борьбы не могла найти широкого отражения в рассказах, составляющих сборник, все они написаны раньше.

Это горькие рассказы о попрании человеческого достоинства, о гнете и несправедливости, о расовом неравноправии, которое порождает гневный протест.

Об этом страшный рассказ Артура Меймана «Называй меня «миссис».

Ходил на почту подросток Джимми, сын «хорошего кафра» Иоганнеса. «Хорошим кафром» белые расисты называют чернокожего, который ни во что не вменяется, тих, покорен, безответен. Этим требованиям вполне отвечал старый Иоганнес, умевший только выращивать манс, по никак не его сын — школьник, которого уже коснулись новые веяния, залетающие в провинцию из больших городов. Правда, все свое свободомыслие юный Джимми выражал лишь тем, что отказывал начальнице почты в обращении «миссис», на которое та и не имела права, будучи незамужней. Злобную, заносчивую девичку с ума сводило, что мальчик как бы подчеркивает ее ущербность. И она натравила на Джимми подвыпивших белых парней, к которым присоединился вооруженный полицейский, — ведь убегающий черный уже виновен перед законом. Погоня кончилась метким выстрелом и душераздирающим криком безвинно гибнущего юноши.

Совсем не страшное вроде бы случилось с героем рассказа «Куда держишь путь, парень?» известного романиста, новеллиста и публициста Алекса Ла Гумы. Майкл Адонис «лениво плыл по тротуару» столичной улицы в послеобеденный час, слушая музыку, доносящуюся из музыкальных киосков, разглядывая неоновые рекламы и витрины с пластмассовыми японскими куклами и литографиями. Так шел он, никого не задевая, как вдруг путь ему преградили двое полицейских. И погасло вечернее солнце, померкло небо, съежилась душа парня. Ни с того ни с сего «блюстители порядка» учинили юноше унижительный обыск па глазах прохожих, женщин. «Майкл вынул и показал смитую начальу пачку сигарет, остаток полочки, грязный носовой платок, кусочек завалившейся в кармаке, в соре и крошках, жевательной резинки».

У него не оказалось дагги — индийского гашиша, интересовавшего полицейских, — с таким же успехом они могли искать у него бриллианты, оружие, набор воровских инструментов или человечески кости. Его невинность очевидна даже для блюстителей расистского порядка. Майкла Адониса отпускают, но что-то важное и нежное убито в молодом человеке, «в глубине его души в который раз вспыхнуло знакомое чувство ярости, гнева и обиды, перемешанное с болью и страданием».

Для Майкла Адониса дело обернулось хотя бы внешне благополучно, но вот для героя другого рассказа, «Костюм для концерта» (автор — Робинсон Матселе), невинный выход на улицу закончился трагически — тюрьмой. Пожилой рабочий пошел купить сыну праздничный костюм для участия в конкурсе певцов и забыл дома пропуск, позволяющий туземцам выходить за пределы его свободы. Надорванный тюремным режимом, рабочий возвращается домой, чтобы умереть. Рассказ трагичен, он вызывает боль, гнев.

В сборнике представлены и такие талантливые писатели, как Питер Абрахамс, Джек Коуп, Дагмор Ботье, Алан Пэйтон, Джеймс Мэтьюс.

И верится, что чистый, звучный и гневный голос Южной Африки достигнет сердца наших молодых читателей.

*Юрий Нагибин*

ОТРОЧЕСТВО

(Из романа «Пароль: «Свобода!»)



В перерыве на второй завтрак я обычно мыл у кузницы машину мистера Вайли. За это он давал мне шиллинг в конце недели.

А мой начальник, мастер Дик, повысил мне зарплату до трех шиллингов, так что каждую субботу я приходил домой с четырьмя серебряными монетами в кармане. Половину я вносил за стол, двенадцать пенсов оставлял себе на карманные расходы, и еще один шиллинг тетушка Матти откладывала для меня про черный день. Случалось, она брала займы из моих сбережений, но прежде непременно спрашивала разрешения и всегда возвращала долг в мою скромную казну, бережно хранившуюся у нее в матраце.

Однажды, когда я вымыл машину, мистер Вайли сказал:

— Там у меня на столе бутерброды, возьми.

Он отъехал, и я пошел в контору. Девушка в очках с толстыми линзами жевала в углу завтрак, уткнувшись в книгу. Она подняла глаза, когда я вошел.

— Мистер Вайли разрешил мне взять это. — Я показал на бутерброды.

— Ну что ж, бери.

Я взял пакет с бутербродами и повернулся к двери.

Она окликнула меня.

Я остановился и обернулся.

— Миссис?..

— Мисс, а не миссис! «Миссис» говорят только замужней женщине.

Ее улыбка придавала мне смелости.

— Мы говорим так всем белым женщинам, миссис.

— Значит, вы говорите неправильно. Говори мне «мисс».

— Да, мисс.

— Ну вот, так лучше... Сколько тебе лет?

— Одиннадцатый, мисс.

— Почему ты не ходишь в школу?

— Не знаю, мисс.

— Ты умеешь читать и писать?

— Нет, мисс.

— Ну что ты заладил — «мисс» да «мисс». Перестань.

— Хорошо, мисс.

Она засмеялась.

— Сядь. Если хочешь, ешь свои бутерброды здесь.

Я присел на краешек стула у двери.

— И тебе никогда не хотелось учиться?

— Не знаю, мисс.

— Хочешь, я тебе читаю?

— Да, мисс.

Она перевернула страничку в книге, которая лежала у нее на коленях, посмотрела на меня и принялась читать вслух. Это был Шекспир в изложении Чарльза и Мэри Лэм, издания 1807 года.

История Отелло сразу захватила меня, а по мере того как белая мисс читала, полностью овладела всеми моими чувствами. Я мысленно перенесся в страну, где храбрый мавр жил и любил и где погубил свою любовь.

Девушка закрыла книгу.

— Нравится?

— О да!

— Вот видишь. В этой книге много таких историй. Если б ты ходил в школу, ты смог бы прочесть их сам.

— А я смогу потом найти такую книгу?

— Конечно, книг много.

— Таких, с такими же историями?

— И таких. Книг тысячи тысяч.

— Тогда я иду в школу!

— Когда? — Глаза у нее заблестели.

— В понедельник.  
— Начало положено! — Она рассмеялась. — А почему ты до сих пор не учился?

— Не знаю.

— Ты же видел, что другие дети ходят в школу?

— Никто не рассказывал мне про такие истории.

— Ах вот оно что! Истории...

— Когда я научусь читать и писать, я сам стану сочинять такие же...

Она улыбнулась, а потом вдруг выпрямилась, взяла со стола ручку и открыла книгу.

— Как твоя фамилия?

— Абрахамс, мисс, Питер — так мое полное имя. Питер Абрахамс.

Она что-то написала на книге.

— Смотри, я поставила здесь твое имя.

Я посмотрел.

— Мое, мисс?

— Да. Я написала: «Из книг Питера Абрахамса». Это тебе.

— А где мое имя?

— Вот эти два слова. — Она показала. — Ну, бери же!

Я взял книгу. Я держал ее очень бережно. И шагнул к двери, оглянулся. Она покачала головой и засмеялась. И вдруг затихла.

— О боже! — произнесла она и снова покачала головой.

— Спасибо, мисс. Спасибо!

У нее странно блеснули глаза за толстыми стеклами очков.

— Иди! — сказала она. — Ступай... В добрый час...

Я растерянно топтался у двери. Она плачет? Но почему?

— Еще раз спасибо, мисс. Спасибо!

— Но вы же видите, сэр, он пропустил половину занятий. Уже середина семестра, и у меня переполнен класс. И потом, такой верзила! Он и по возрасту перерос четвертый... Где ты был, когда начинался учебный год?

— Я работал, мисс.

— ?!

— Ну конечно, конечно. Ведь у нас образование обязательно только для белых и никому нет дела до того, ходит этот мальчишка в школу или нет. Почему я должен вам все это говорить?! Неужели мне нужно приводить вам цифры неграмотно-

сти среди вашего же парода? Вы туземка, и я еще должен рассказывать вам о положении вещей, которое вам известно лучше, чем мне!

— Нет, сэр... Но...

— Я знаю. В вашем классе в три раза больше учащихся, чем должно быть; у вас не хватает грифельных дощечек и карандашей; некоторым верзилам пора самим иметь детей и отпустить бороду; у вас не хватает парт; вы не в силах уследить за всей этой оравой. Я все знаю. Но вы только задумайтесь: мальчишка на работе слышит, как кто-то читает книгу, и желание прочесть ее самому приводит его сюда! Он говорит: «Примите меня, я хочу учиться». А мы покажем ему на дверь только потому, что он не отвечает каким-то требованиям? У нас в стране столько талантов, что мы можем позволить себе бросаться ими!.. Слушайте! У меня есть идея! Мы примем его в школу и заставим его и других переростков проходить три дня за один... Мальчик! Питер!

— Сэр?

— Не боишься тяжелого труда?

— Нет, сэр.

— Я задам тебе работу! Ты у меня узнаешь, почем фунт лиха, но я обещаю: к концу года ты будешь читать и писать. Условия жесткие. Если ты будешь замечен в расхлябанности, лени, я велю учительнице послать тебя ко мне и высеку розгой! Крепко высеку! Согласен?

— Да, сэр.

— Ну вот, мальчик и я — мы оба торопимся. Помогите нам. У нас нет лишнего времени... Берите его!

— Слушаю, сэр.

— Хелло! Еще один?

— Да. Они с директором торопятся. Директор изобрел новую систему: переростки проходят трехгодичный курс обучения за год.

— Бог ты мой!

— С ума сойти, да и только.

— Одного у старика не отнимешь: он болсает за образование цветных. Виссер — единственный директор, о котором я могу это сказать за все годы, что здесь работаю. А он бур! Ты знаешь, на него хотели надеть смиренную рубаху...

— Да. Бурский поэт, мечтатель, безумец. Ему легко сидеть

за своим столом и сочинять прекрасные программы. Всю черную работу приходится делать нам.

— Не унывай, деточка. Не такой уж он плохой. Пойду утихомирю свою ораву. Пока.

— Заходи.

— Садитесь. Вот наш новый ученик, Питер Абрахамс. Дайте ему место в углу на последней парте. Подвинься, Адамс.

— С вашего позволения, мисс...

— Да?

— Здесь нет места. Мы так стиснуты, что почти нельзя писать, руку не высвободишь.

— Питеру нужно место. Потеснитесь как можете.

— Слушаю, мисс.

— Так, а теперь поднимите руку, у кого целые грифельные дощечки. Так, значит, ни у кого нет?

— Они все потрескались, мисс.

— Неважно, если они потрескались. Один, два... Только у троих?

— У меня моя собственная, мисс...

— Ты хочешь сказать, Маргарет, что ты сама себе купила дощечку, а не получила ее в классе?

— Да, мисс.

— Так и говори. Ну, хорошо, можешь опустить руку, Маргарет.

— С вашего позволения, мисс...

— Да, Томас?

— У меня дощечка треснула посередине. Я могу дать половинку этому...

— Питеру. Очень мило с твоей стороны, Томас. Благодарю тебя. А ты, я вижу, перебрался на парту Джонса? Но он придет завтра и попросит тебя пересестись.

— Он больше не придет, мисс. У него отца в тюрьму посадили, и Джонсу теперь придется работать, чтобы помогать матери... Такое несчастье! Вы так любили Джонса, не правда ли, мисс?

— Довольно, Адамс. Благодарю, Томас. А у тебя есть отец, Питер?

— Нет, мисс.

— Тебе тоже нелегко приходится?

— Не очень, мисс.

— Вот возьми этот талон. На большой перемене дети выстраются в очередь в буфете, встань вместе с ними, покажешь талон и получишь бесплатный завтрак. Все. Можешь идти на свое место.

— Спасибо, мисс. Простите, я причинил вам лишнее беспокойство.

— Вернись, Питер. Я хочу, чтобы у тебя и мысли не было, будто ты причиняешь здесь кому-нибудь беспокойство — мне или кому бы то ни было! Ты понял?

— Да, мисс.

— Мы здесь для того, чтобы учить вас и помогать вам. Очень сожалею, если ты что-нибудь не так понял из нашего разговора. Тебе ведь тоже случается иной раз говорить не то, что ты думаешь, не так ли?

— Да, мисс.

— Ну так вот, забудь об этом. И никому не рассказывай, что я и та, другая учительница говорили о директоре.

— Слушаю, мисс.

...Эй, би, си, ди, и, эф, джи, эйч, ай, джей, кей...

потом «уай» и «зет» стоит — вот и весь наш алфавит...

Дважды один два-а-а...

Дважды два четы-ы-ре — моют пол в квартире.

Дважды три шесть — негде в комнате присесть.

Дважды четыре восемь — не опаздывать в школу просим!

Дважды шесть двенадцать — вовсе не тринадцать.

Дважды девять восемнадцать.

Дважды десять двадцать...

К — буква.

О — буква.

Т — буква, вот.

Поставьте их рядом, и у вас будет «кот».

— Разрешите спросить, мисс...

— Да?

- Все на свете книги составлены из букв?
- Да, все на свете книги составлены из букв.
- Ии-сусе Христе!
- Что?!
- Ничего, мисс, благодарю вас.

— Эй, посмотрите-ка, нашей голодной команды прибыло. Он из нашего класса. Эй, Питер Абрахамс! Потянуло похлевать со скотиной кофейных помоев? А знаешь, они плюют в чашку, чтоб полнее было...

- Ха-ха-ха!
- Ш-ш-ш! Старина Виссер подслушивает.
- Поди-ка сюда! Да, да, именно ты! Никуда ты не убежишь, трусишка! Я тебя узнал. Иди сюда!

— Сэр?

— Я слышал, что ты сказал. А что, если я тебя теперь исключу?

— Я ничего дурного не имел в виду, сэр.

— Ну конечно же! В этом вся беда с вами, и с этой страной, и со всеми нами! Мы никогда ничего дурного не имеем в виду. Мы наносим обиды, унижаем людей, оскорбляем, лжем и никогда при этом не имеем в виду ничего дурного. На тебя ведь всегда смотрят свысока — тебя это ничему не научило? Тебе тоже хочется смотреть свысока на кого-нибудь другого? Убирайся! Если я еще раз услышу что-нибудь в этом роде от тебя или кого-нибудь другого... Преподаватель!

- Да, сэр?
- Неужели мы не можем уберечь детей от грубости их соучеников, хотя бы на время, пока они принимают пищу?
- Увы, сэр.
- Их третируют, потому что они бедней своих собратьев. Чванливость одних угнетенных перед другими!

— Не будем с ним играть. У него волосы курчавятся, как у кафра.

— Ну и пошел к черту! У тебя прямые, зато ты чернокожий!

— ...Вот и вся история про Иосифа, который был справедлив ко всем людям.

- Это было на самом деле, сэр?

— Да.  
— Почитайте нам, пожалуйста, еще, сэр.  
— У меня целых три класса, вам известно?  
— Да, сэр.  
— Ну так ступайте, меня ждут другие дети, а у вас сейчас урок истории...

— А, Абрахамс. Нас хватило всего на полгода, постепенно начинаем сдавать?

— Нет, сэр.  
— Ты хочешь сказать, что твой учитель лжет?  
— Боже упаси, сэр.  
— Прискучило упорно трудиться? Дальше первой ступени идти не хочешь?

— Почему же, сэр?  
— Тогда выкладывай, в чем дело.  
— Арифметика, сэр. Не дается она мне, сэр.  
— А ты пытался?  
— Да, сэр.  
— Запись в журнале говорит, что ты не проявляешь к арифметике должного интереса.

— Я пытался, сэр.  
— Ты хочешь сказать, что здесь написана ложь?  
— Нет, сэр. Я хочу сказать, я изо всех сил старался заинтересоваться.

— Но тщетно?  
— Да, сэр.  
— Ты, конечно, знаешь, что не я составляю школьные программы.

— Да, сэр.  
— Ну так вот, пока ты не достигнешь определенного уровня знаний по арифметике, никакие высокие оценки по остальным предметам тебе не помогут. Таков закон, и не я его придумал. Я стараюсь, сколько могу, помочь тебе пробиться, и ты должен посидеть над арифметикой. Захочешь — найдешь время за счет других предметов.

— Мне нравятся другие предметы, сэр.

— Знаю. Но чтобы попасть, куда ты нацелился, придется заниматься и тем, что тебе не по душе... Куда ты собираешься поступить? Чем думаешь заняться дальше?

— Те истории, сэр...

— Истории?! Ты про книгу, которую тебе подарила та молодая дама?

— Да, сэр.

— А ты не начал забывать их?

— Я теперь пытаюсь их читать, сэр.

— Ну и что-нибудь понимаешь?

— Не очень много.

— Что ж, все в твоих руках. Между тобой и теми будущими знаниями, которые помогут тебе понять эту книгу, стоит арифметика. Как лев, преграждающий тебе путь! Тебе остается либо повернуть вспять, если ты не справишься с ним, либо сразить его и двигаться вперед. Третьего не дано. Творцы наших законов об образовании не позаботились о поэтах. Желая тебе сразить этого льва и продолжать путь. Арифметика не нужна поэту, но тебе необходимо сдать экзамен... Я обещал тебя выпороть, если тебя когда-нибудь пришлют ко мне, и я должен сдержать свое обещание. Спусти штаны, повернись спиной, и да поможет тебе жгучая боль от розги сразить этого льва...

— Хэлло, Питер.

— Хэлло, Эллен.

— Пошли на другой конец спортплощадки, там меньше народу...

— Не могу.

— Ну, пожалуйста... Может, ты просто не хочешь?

— Я хочу, но не могу.

— Почему?

— Зачем спрашивать, когда ты прекрасно знаешь, что я должен стоять в очереди.

— Не сердись!

— А ты не задавай ненужных вопросов.

— Я спросила только потому, что тебе не обязательно стоять в очереди.

— Я хочу есть.

— Я принесла лишние бутерброды.

— Для меня?

— Да.

— Почему?

— Ты мне нравишься. Ты лучший мальчик во всем классе.

— У других отметки лучше.

— Только по предметам, которые ты не любишь. И кроме

того, я слышала, как учитель говорил, что ты самый умный. Я с ним согласна. Пошли? Я не хочу, чтобы все видели, что я принесла тебе завтрак.

— Я думал, ты беднее меня, а ты просто худее.

— Еды у нас хватает. Там, где мама работает, выбрасывают уйму пищи, и мама может приносить домой сколько угодно. Я взяла для тебя бутерброды с курицей. А я все равно не стану толще, как меня ни корми. Пожалуй, мне лучше сразу сказать тебе, что у меня слабые легкие...

— Почему?

— На, бери бутерброды. Тут никто не видит. Пошли вон под то дерево... Вкусно?

— Ммм...

— Я рада. Я буду приносить тебе все самое вкусное... А на потом я прихватила еще кое-что сладкое.

— Мне нечего тебе дать.

— А мне и не нужно ничего. Я просто хочу дружить с тобой, если я тебе нравлюсь. Вот почему я и сказала тебе сразу про легкие. Моя бабушка учит меня, что надо всегда говорить правду. Но даже если я тебе не нравлюсь, я все равно буду каждый день приносить тебе завтрак. «Каждый день» — это, конечно, до тех пор, пока мама будет жить с нами. Она может уйти, и тогда все это кончится... Я тебе нравлюсь? Ты не сказал.

— Да.

— Правда? Перекрестись!

— На, смотри!

— Мне и самой так казалось, но я не была уверена. Только я знала, ты никогда не признался бы, если б я не спросила. А ведь девочке нелегко признаться мальчишке, что он ей нравится.

— Мальчику тоже.

— Но не такому, как ты... Бери и мой бутерброд, пожалуйста. Я все равно не съем. А мужчина должен есть больше, чем женщина. Я всегда рассказываю о тебе бабушке. Она хочет, чтобы я пригласила тебя к нам. Но ты можешь не приходить, если не хочешь...

— Я хочу. Я сегодня понесу твои книги.

— Ладно. О, я так рада, что ты больше не будешь стоять в этой очереди. Я чуть не плачу, когда слышу, что они там говорят.

— У меня есть волчок и несколько настоящих мраморных шариков. Возьми.



- Нет, не надо. Просто будем дружить.
- Давай. Я считаю, ты самая красивая девочка во всей школе.
- Я темная, и у меня курчавые волосы.
- Ну и что ж такого? Ты мне нравишься.
- Я хочу, чтобы ты стал первым учеником в классе. Ради меня.
- Нет. Первой будешь ты. Ладно? Мне тоже этого хочется.
- Я постараюсь, если тебе этого действительно хочется.
- Ты будешь первой, я вторым, а старина Аренсен — третьим. Я хочу, чтобы я мог гордиться своей девушкой.
- Хорошо. Я постараюсь. Звонок. Боже, нам придется нестись со всех ног. Мы опоздаем.
- Давай руку.
- Не так быстро, пожалуйста. А то я закашляюсь.

— ...Старый Виссер пыжится от гордости за своих подопечных. Почти вся дюжина сдала экзамены за два класса. А первая пятерка даже сделала бы честь второму классу нормальной школы. Он хочет дать всем почувствовать, что эта ужасная зубрежка стоила потраченного на нее времени.

— Все-таки он добрый человек... Чего тебе, Питер?

— Мистер Виссер сказал, что вам, может быть, захочется посмотреть на награду, которой он удостоил меня за мое сочинение.

— О... дай взглянуть. Я не знала, что была объявлена награда... За что же? О, Джон Китс, «Стихи». Прекрасная книга. Но ведь тебе, наверное, еще не прочесть ее.

— Мистер Виссер велел мне сказать вам, что когда-то я не смог прочесть Шекспира даже в переложении и что именно это привело меня сюда, в школу. Он просил вас прочесть мне что-нибудь.

— Изволь. «...Пойду с тобой, чтоб быть поводом тебе, чтоб в нужный час быть обок, рядом, чтобы помочь твоей беде...» Говорит это тебе о чем-нибудь?

— Нет, мисс. Но мистер Виссер сказал, что когда-нибудь я это пойму.

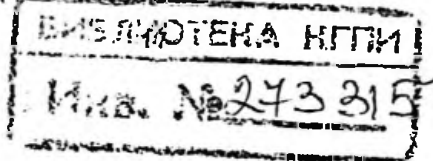
— Ух, этот старик! Это его-то считают безумным и ему не доверили руководить школой для белых!.. Ступай, Питер, беги...

КУДА ДЕРЖИШЬ ПУТЬ, ПАРЕНЬ!



В музыкальных магазинах, расположенных по обе стороны улицы, все еще гремела музыка. Разноголосица звуков сливалась в такую какофонию, что невозможно было отличить одну мелодию от другой. Хозяева — евреи, индийцы и греки — стояли в дверях своих лавок вдоль пассажа, зазывая последних покупателей. Лотки, нагруженные овощами и фруктами, тоже еще не были пока убраны с тротуаров. Размахивая коричневыми бумажными пакетами, лоточники в белых куртках оглушительно расхваливали свой товар и непрерывно снижали цены в надежде, что успеют продать еще что-нибудь. На остановке толпы людей штурмовали автобус. Молодые гуляки группками стояли под балконами, у дверей домов, перед витринами магазинов, покуривая, посмеиваясь и задирая прохожих.

А над всем этим шумом, гамом и сутолокой весело плясали, перемигиваясь, неоновые рекламы: «Кока-кола», «Распродажа сегодня и завтра», «Ювелирные изделия», «Модная одежда», «Мы оба умрем с голоду, если вы не перекусите у нас!», «Большой пикник в райской долине». «Роскошные автомобили», «Чай», «Кофе», «Табак», «Вы попробовали наши молочные коктейли?», «Бильярдный клуб», «Ваши пожелания — закон для нас», «Салон мод».



Майкл Адонис лениво плыл по тротуару в людском потоке, подобном бесконечной разматывающейся ленте.

Из музыкального киоска неслоь пронзительно и громко: «Когда-нибудь ты вспомнишь обо мне, мой милый». Эта песня перебралась сюда через Атлантический океан в виде тонких дисков, и теперь динамик над входом разносил джазовую новинку по всей округе.

Майкл загляделся на пеструю витрину: гитары, банджо, мандолины, детали проигрывателей, струны, пюпитры, электрические утюги, штепсели, пластмассовые куклы из Японии, литографии, изображающие ангелов и Христа в терновом венце, из-под которого на розовый лоб стекали яркие капли крови, похожие на следы губной помады.

В дверях магазинчика вырос толстяк с лоснящимися гладкими щеками:

— Желаете что-нибудь купить, сэр?

— Нет, — сказал Майкл и резко отшвырнул недокуренную сигарету.

Двое подростков в грубых рваных рубашках, с заросшими грязью ногами ринулись к окурку, отталкивая друг друга.

— Привет, Майкл! — раздалось позади.

Майкл обернулся и увидел около себя истощенного парня.

— Привет, Джо!

Джо был невысокого роста, а стар он или молод — определить по его лицу, покрытому плотной коркой грязи, было так же невозможно, как рассмотреть под грудой хлама какую-нибудь ценную вещь в лавке старьевщика. У него были карие собачьи глаза. Пахло от Джо потом, затасканной одеждой и водорослями. Брюки Джо давно обтрепались. Лохматые края огромных дыр на коленках стянуты булавками и бечевкой, а как выглядели эти брюки в первозданном виде, угадать невозможно, настолько они заношены и заляпаны грязью. На плечах Джо старый-престарый плащ, доходящий ему почти до пят. Вырванные рукава болтаются на нитке, свисающий лапшой перёд застегнут булавкой, из-под этих лохмотьев виднеется грязная жилетка; ботинки изношены до неузнаваемости.

Никому не было известно, откуда Джо приходил и куда вновь исчезал. О нем вообще никто ничего не знал. Просто в один прекрасный день он вдруг появлялся в этом районе, как таракан, выползший из щели. Большую часть времени Джо проводил в бухте, подбирая рыбу, выброшенную рыбаками. А иногда бро-

дил по берегу моря, разыскивая мидии. У него была какая-то необъяснимая страсть ко всему, что связано с морем.

— Ну как дела, Джо? — спросил Майкл.

— Порядок, Майкл.

— Чем занимался сегодня?

— Да так, околачивался возле доков. Днем пришвартовался «Йорк Касл».

— Да?

— Ты любишь мидии, Майкл? Я принесу тебе немножко.

— Ладно, Джо, принеси.

— А вчера я нашел на берегу огромную морскую звезду. Большая-большая. Правда, она была неживая и здорово воюла.

— Ты правильно сделал, Джо, что не притащил ее сюда, в город. Парни из муниципалитета намылили бы тебе шсю.

— Я слышал, на берег теперь будут пускать только белых.

— Да, я читал об этом в газетах. Вот сволочи!

— Похоже, скоро вообще никуда не пойдешь.

— Похоже на то, — согласился Майкл.

Они поднялись вверх по улице, к «Королеве Виктории».

— Хочешь выпить, Джо? — спросил Майкл, зная, что Джо не пьет.

— Нет, Майкл, спасибо.

— Ну, тогда пока.

— Пока, Майкл.

— А ты ел сегодня?

— Как тебе сказать? Нет... Нет еще, — сказал Джо, застенчиво улыбнувшись и переминаясь с ноги на ногу.

— Ну ладно, Джо. Вот тебе шиллинг. Купи чего-нибудь. Пакетик рыбы, например, с жареной картошкой.

— Спасибо, Майкл.

— Ну что ж, Джо, будь здоров.

— До встречи, Майкл.

— Не забудь про мидии, ты обещал, — напомнил Майкл, хотя и знал, что Джо все равно забудет.

— Принесу, принесу, — ответил Джо, улыбнувшись, и поднял руку в прощальном приветствии. Казалось, он понял, что Майкл усомнился в его памяти, поэтому как можно убедительнее добавил: — Я не забуду, Майкл. Вот увидишь, не забуду.

Джо побрел вверх по улице, и рваный плащ волочился за его спиной по растрескавшемуся асфальту, словно побывавшее в жестоком бою, порубленное саблями и простреленное пулями боевое знамя.

Майкл Адонис, свернув за угол, направился к бару, и тут он увидел, что к нему направляются двое полицейских: они шли в своих приплюснутых фуражках и формах цвета хаки, с блестящими пряжками на портупеях и тяжелыми пистолетами в кобуре на поясе. Лица их были угрюмы и холодны, словно вырубленные из льда глаза — бесстрастные и блестящие, как осколки голубого стекла. Полицейские шли рядом, медленно и неуклонно, прокладывая курс в потоке людей, словно два эсминца в океане.

Они приближались неотвратно, и Майкл, желая избежать встречи, попытался перейти на другую сторону, но полицейские привычным и искусным маневром преградили ему дорогу.

— Куда держишь путь, парень?

Голос прозвучал сухо и резко, как щелчок стальной пружины. У говорившего были жесткие, тонкие, потрескавшиеся губы и редкий белый пушок над ними, широкие розово-белые скулы, густые рыжие брови и белесые ресницы. На тяжелом подбородке зрел прыщ, красным пятном выделяясь на бледной коже.

— Куда держишь путь, парень?

— Домой, — ответил Майкл, глядя на пряжку ремня.

По опыту известно, что лучше ухватиться за какую-нибудь деталь полицейской формы — пуговицу на кармане, пряжку или гладкую блестящую полосу коричневого ремня, чем смотреть в глаза, ибо это будет воспринято как оскорбление. Только очень смелому или очень глупому человеку пришлось бы в голову взглянуть прямо в лицо блюстителю порядка, тем самым как бы бросаая вызов или ставя под сомнение законность его действий.

На лице второго полицейского, засунувшего большие пальцы за пояс, играла слабая, отрешенная улыбка. Впрочем, это нельзя было даже назвать улыбкой — просто легкое движение губ. Руки его на фоне ремня казались неестественно белыми и широкими, и на этой белизне рельефно выделялись набухшие бледно-голубые вены. Короткие рыжие волоски покрывали запястья. Толстые пальцы, розовые, блестящие, чистые, ухоженные ногти.

— Где у тебя дагга?<sup>1</sup> — рявкнул он зло и угрожающе.

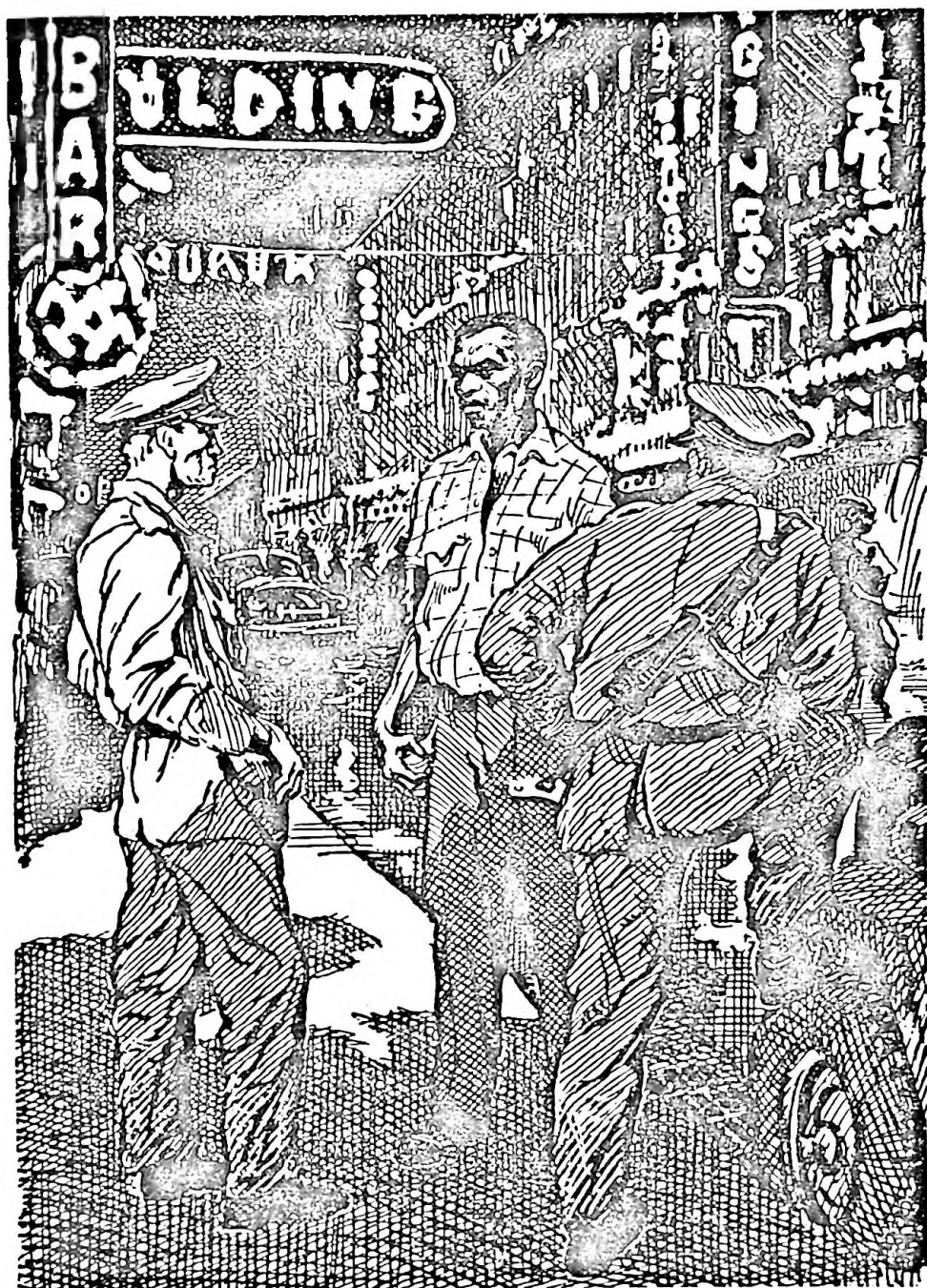
— Я не курю даггу.

— А ну-ка выворачивай карманы, — приказал первый полицейский, — да поживее.

Майкл, не поднимая глаз, начал медленно опорожнять

---

<sup>1</sup> Дагга — индийский гашиш.



карманы. «Проклятые буры, проклятые буры!»<sup>1</sup> — сверлило в мозгу. Прохожие останавливались, чтобы взглянуть на эту сцену, но, наткнувшись на сверкающие холодным, ледяным блеском глаза, спешили дальше. Майкл вынул и показал смятую напечатую пачку сигарет, остаток получки, грязный носовой платок, кусочек завалявшейся в кармане, в соре и крошках, жевательной резинки.

— Где украл деньги? — Вопрос прозвучал убийственно серьезно, без тени юмора и резанул по нервам, словно пилой.

— Я не украл их, баас. («Проклятый бур!»)

— Ладно, проваливай отсюда, только не вздумай еще раз попасться нам на глаза, слышишь?

— Да. («Проклятый бур!»)

— «Да» — а дальше? Ты с кем разговариваешь?

— Да, баас. («Ах ты проклятый, подлый бур, с этим проклятым пистолетом и мерзкими рыжими волосами!»)

Полицейский отпихнул Майкла локтем в сторону, и блюстители порядка зашагали дальше.

Майкл Адонис молча рассовал свое добро по карманам. В глубине его души в который раз вспыхнуло знакомое чувство ярости, гнева и обиды, перемешанное с болью и страданием.

---

<sup>1</sup> Буры, или африканеры, — потомки колонизаторов — переселенцев из Голландии, живущие в ЮАР.

КОФЕ В ДОРОГУ



ни проехали кукурузные поля и теперь мчались по дороге через обширную низкую полупустыню, покрытую рыжевато-коричневыми проплешинами и впадинами. К югу земля эта была усеяна низкорослым колючим кустарником и походила на огромный неподметенный ковер. А далеко справа при еле заметном утреннем ветерке нехотя вращались металлические крылья водяной помпы, будто ее только что разбудили и заставили выполнять изнурительную работу — выкачивать воду из тощей земли.

Машина мчалась на большой скорости по асфальту; шины визжали на поворотах.

— Хочу еще сандвич, — сказала Зейда откуда-то сзади, из-за тюков и чемоданов.

Ей было шесть лет, она уже порядком устала от долгого утомительного путешествия, интерес к окружающему давно прошел, и сейчас она лениво привалилась к подушке, не обращая внимания на выжженные солнцем овраги да чахлые низкорослые деревца.

— Сандвичи в жестянке. Ты ведь и сама можешь взять, — сказала женщина за рулем, не отрывая глаз от дороги. — А ты хочешь еще, Рей?

— Нет, я уже сыт, — сказал сидящий рядом с ней мальчик,

пристально рассматривая через стекло заграждения из колючей проволоки.

— Еще далеко до Кейптауна, мамуля? — спросила Зейда, жуя сэндвич.

— Приедем завтра к вечеру.

— А папа будет нас встречать?

— Конечно.

— Вон овцы, — проговорил Рей.

За окном пронеслись фермы — однообразные, как костяшки домино, строения, рассыпанные по выжженному коричневому склону.

Мать вела машину всю ночь и очень устала. Глаза ее покраснели от пыли и песка. Они останавливались на короткий отдых лишь один раз — накануне ночью, приткнув машину прямо на обочине дороги у какого-то городишка, где нельзя было переночевать, потому что все отели там только для белых. И вообще во всех городах, которые они просхали, жили только белые; остальные, за исключением домашней прислуги, ютились в жалких трущобах за городской чертой. Кроме того, в этих краях у них не было ни одного знакомого.

Сегодня на заре она почувствовала себя совершенно измотанной и злой, однако старалась не показать своего состояния детям. Сразу после полуночи она снова пустилась в путь: дети безмятежно спали, а она вела машину всю оставшуюся часть ночи.

Теперь у нее страшно болела голова, и, когда Зейда спросила: «Можно мне съесть еще пирожок, мамуля?», она раздраженно воскликнула:

— О, боже! Ты же прекрасно знаешь, где они, возьми и ешь!

Пейзаж раскручивался словно на киноленте, пущенной в обратную сторону, красно-коричневый, желто-красный, розовый. Повсюду редкий кустарник и валуны.

К востоку взору открылась огромная обнаженная скала, неожиданно вырастающая из пересохшей земли, подобно гигантскому лиловато-пурпурному слоеному торту, украшенному сверху камнями шоколадного цвета. Машина промчалась по участку дороги, покрытому гравием, и красная пыль закружилась за ней, словно дымовая завеса разгорающегося пожара.

Какая-то птица с длинным хвостом устремилась вслед за машиной, не отставая от нее и плавно скользя над кустарником вдоль дороги.

— Смотри, какая смешная птичка, мамуля! — вскричал Рей, прижимаясь носом к запыленному стеклу.

Мать не обратила внимания на восторг сына, стараясь немного расслабиться, при этом она механически, но искусно нажимала на педали.

Она думала, что было бы, пожалуй, лучше поехать посздом, но Билли писал, что ему очень нужна машина, так как без нее трудно успеть во все концы. Возможно, в Кейптауне дела пойдут лучше, думала она. Голова ее по-прежнему раскалялась от боли, и она вела машину автоматически, с одним-единственным желанием закончить это осточертевшее путешествие как можно скорее.

Мне хочется кофе, сказал Рей и протянул руку за термосом, лежавшим в сетке под щитком.

Мальчик уже не нуждался в мелкой опеке и мог вполне позаботиться о себе сам.

— Дай мне тоже кофе, раздался голос маленькой Зейды из-за саквояжей.

Не будь жадинной, сказал Рей, только и слышно: дай, дай, дай.

Я никакая не жадина, я просто хочу немножко кофе, обиделась Зейда.

Ты уже пила утром.

А я хочу еще.

Жадина, жадина!

Дети, сказала мать устало, дети, перестаньте ссориться.

Он первый начал, надулась Зейда.

Прекрати, прекрати! вспыхнула мать.

Рей отвинтил крышку термоса, вынул пробку и заглянул внутрь.

Мам, там пусто, сказал он, нет ни капли кофе.

Очень жаль, промолвила мать.

Я хочу пить, захныкала Зейда, я хочу кофе.

Ладно, ладно, сказала мать устало, по тебе придется немножко потерпеть, купим кофе где-нибудь по дороге. Подожди чуть-чуть, хорошо?

Солнце повисло медным пятном на плоском голубом небе, и вся долина, желто-коричневая, сухая, как гигантский поджаренный ломоть хлеба, дрожала в жарком мареве.

Мать вела машину из последних сил, все ее мысли смешались, и в голове стучало, как в пересохшем грецком орехе.

Под ее глазами, за темными светозащитными очками, легли красные круги, смуглое красивое индийское лицо осунулось, нервы ее были напряжены и натянуты, как струны арфы, готовые лопнуть от малейшего прикосновения.

Миля за милей отскакивали прочь под рев и шум двигателя: позади оставалась плоская, выжженная равнина, пыльного цвета холмы, пересохшие глинистые овраги и низкие горные кряжи.

Хижина пастуха, словно заблудшая душа, одиноко приткнулась у опаленного солнцем подножия горы. Временами навстречу им с резким свистом, обдавая жарким потоком воздуха, проносились на север машина. Слепящий свет солнца колыхался и дрожал, словно вокруг кипел воздух.

— Хочу кофе, — капризно повторила Зейда, — мы сегодня совсем не пили кофе.

— Мы купим кофе, — сказала мать, — мы купим кофе, как только увидим какое-нибудь кафе, а пока помолчи, съешь еще сэндвич.

— Не хочу сэндвич, хочу кофе.

Они проехали мимо лощинки, где сгрудилась кучка полуразвалившихся, напоминавших поломанные кубики лачуг, и целая стайка голых грязно-коричневых ребятишек, выскочив из крытого загона для овец, ринулась к обочине дороги, крича и махая руками. Рей, смеясь, помахал им в ответ, и они скрылись из глаз. На мгновение перед их взором промелькнула надраенная ветрами металлическая опора водяной помпы и тоже исчезла.

Трое черных мужчин с трудом тащились гуськом вдоль дороги, глядя вперед, в неведомое будущее. Не обращая внимания на жару, они завернулись в какие-то старые грязные одеяла, а на головы нахлобучили рваные фетровые шляпы. Путники не помахали пассажирам, когда машина промчалась мимо, а продолжали упорно шагать к своей цели.

Машина, притормозив перед подвешенным на стальных тросах мостом, прогромычала над пересохшей, усеянной камнями речушкой. Несколько овец с почерневшей от грязи шерстью пощипывали порыжевшую траву, разгуливая между валунами под присмотром похожего на пугало пастуха.

Они проехали мимо локаций<sup>1</sup> для цветных, потом — мимо локаций для черных, глиняные и дощатые лачуги которых разбросаны, как выцветшие игральные кости, по коричневому скло-

---

<sup>1</sup> Локация — район, отведенный для африканцев в Южной Африке.

ну. Между лачугами двигались маленькие человечки и крошечные, как муравьи, собаки.

На другом склоне белой галькой было выложено название городка. Машина просхала мимо товарных навесов у запасных железнодорожных путей — рядом в загонах сгрудились овцы, — затем проскочила через переезд и снова выпрыгнула на шоссе. Навстречу им попался какой-то цветной на велосипеде, потом они медленно проехали мимо мутно-коричневатой пристанционной гостиницы и выстроившихся в ряд магазинчиков. За выгоревшим забором перед другим отелем, построенным в голландском колониальном стиле, сидели за столиками и пили около десятка белых с покрасневшими, обветренными лицами. На стоянке перед продовольственной лавкой, вдоль пыльной, покрытой гравием дороги приткнулись машины: грязные легковые автомобили, выдавшие виды пикапы и автофургон. Старый мулат мел тротуар перед лавкой тростниковым веником со звуком, похожим на шипение газа, рывками выходящего из трубы.

Два белых парня, розовощеких, светловолосых, одетых в рубашки и шорты цвета хаки, устали на проехавшую мимо машину. Их глаза вспыхнули ненавистью, едва они увидели темную женщину в опрятном новом автомобиле, с поблескивающими из-под тонкого слоя дорожной пыли металлическими деталями. Машина, не останавливаясь, проследовала по красному гравию улицы, оставив после себя небольшое пыльное облачко.

— Как называется этот городок, мамуля? — спросил мальчик.

— Не знаю, — ответила мать устало, но радуясь, что наконец-то можно притормозить. — Просто какой-то городок.

— А что делает тот дядя? — спросила Зейда, прильнув к окну.

— Где? Какой дядя? — обернулся Рей.

— Он уже ушел, — сказала девочка, — ты очень долго собирался. А теперь мы купим кофе, мамуля?

— Думаю, да, — ответила мать. — Ведите себя хорошо, и появится кофе. Может быть, вы хотите чего-нибудь похолоднее?

— Нет, — сказал мальчик, — после холодного еще больше захочется пить.

— Я хочу много кофе и много сахара, — затараторила Зейда.

— Хорошо, — остановила ее мать, — а сейчас перестань так много болтать.

Впереди, в конце пустыря, виднелось кафе. Перед ним на тротуаре, под затененными окнами, стояли столики и стулья из

металлических трубок. Фасад украшала старая реклама кока-колы и красочно расписанное меню. Полосатый тент защищал от солнца столы. В стене кафе, обращенной к пустырю, было небольшое окошко, через которое обслуживались несвроепейцы. Несколько цветных и африканцев в грязной поношенной одежде толпились в пыли перед окошком, стараясь заглянуть внутрь. Они соприкасались головами, на лицах застыло ожидание.

Женщина подъехала к кафе и остановила машину прямо перед входом. Изнутри неслись звуки радио, жалюзи сняли чистотой.

— Дай мне термос, — сказала женщина и, взяв термос у сына, нажала на ручку дверцы. — Ну, дети, посидите спокойно, я скоро.

Она открыла дверцу, выбралась из машины, постояла с минутой на тротуаре, чувствуя, как приятно расслабляются мышцы ног. Потом потянулась, испытывая почти блаженное наслаждение, но голова все еще сильно болела, и это омрачило ей настроение. Мимолетная радость прошла, в мозгу опять застучало, все тело вновь сжалось, как туго закрученная пружина. Она расправила складки на своем элегантном желтовато-коричневом костюме, но жакет оставила расстегнутым. С термосом в руках она пересекла тротуар и, лавируя между пластиково-металлической мебелью, вошла внутрь.

В кафе было прохладно, в витринах под стеклом стояли консервные банки и пакеты, словно экспонаты в футуристическом музее. Откуда-то сзади шел запах жареного картофеля и доносилось шипение масла. На полке жужжал электрический вентилятор, а у задней стены приткнулись два поблескивающих никелем бака — один с чаем, другой с кофе.

Единственным посетителем кафе был маленький белый мальчик с выгоревшими волосами, с лицом, напоминавшим спелое яблоко, и с сопливым носом. На нем была застиранная ситцевая рубашка, шорты цвета хаки, а его грязные босые ноги, покрытые потрескавшимися мозолями, были желтовато-белого цвета. Облизывая липкими розовыми губами леденец на палочке, он рассматривал яркие обложки старых журналов, выставленных на проволочном стенде.

За стеклянной стойкой с тремя сосудами для сока сидела плотная дородная женщина в зеленом платье и, не обращая ни малейшего внимания на заглядывающих в окошко африканцев, просматривала небольшую пачку счетов. Она сидела, широкоплечая, толстая, с раскрасневшимся лицом, словно его только

что обдали сильной струей песка. У нее были тяжелые некрасивые щеки, бугристые скулы, горбатый нос, возвышающийся между тусклыми серыми глазами, рот-щель, как у ящерицы, холодный и злой, с сухими, потрескавшимися и какими-то зазубренными губами.

Она подняла голову, что-то пробормотала, но, увидев темную кожу женщину, на секунду опешила, глаза ее, казалось, вот-вот выскочат из орбит, а тонкие губы, готовясь извергнуть ругань, извивались, как два червяка.

Будьте любезны, не нальете ли вы мне в этот термос кофе? сказала вошедшая женщина.

Барменшу вдруг прорвало, и она закричала так, будто кто-то противно проскрежетал железом по камню:

Кофе? О господи Иисусе! Проклятая кули вперлась сюда! Глаза с ненавистью скользнули по усталому красному индийскому лицу, изящным темным очкам, элегантному желто-коричневому, городского покроя платью. — Кули, кафры<sup>1</sup> и готтентоты ждут во дворе, — заорала она. — Ты что, не знаешь, тварь ты несчастная, а еще, поди, говоришь по-английски!

Молодая женщина взглянула на барменшу расширившимися глазами, вздрогнула, и вдруг внутри у нее что-то сорвалось, будто соскочила с предохранителя до упора закрученная пружина, и, выкрикнув с отвращением: «Белая шваль, сама ты кули!», она, не помня себя, запустила термосом в белую женщину.

Термос описал в воздухе дугу, и прежде чем барменша успела отклониться, ударил ее в лоб и, отскочив, вдребезги разбил стеклянную витрину.

Женщина за стойкой завизжала, вскинула руку к кровоточащей ране над бровью и пошатнулась. Мальчик выронил леденец и с криком выскочил на улицу. На черных лицах, заглядывающих в окошко, застыл испуг. Мать повернулась и в ярости выбежала из кафе. С искаженным от гнева лицом она пересекла тротуар и резко открыла дверцу машины.

Африканцы, за минуту до этого заглядывавшие в кафе через окошко, сгрудились у края дороги и напряженно наблюдали, как женщина садится в автомобиль и заводит мотор. Она резко рванула машину, руки так сильно сжали руль, что сквозь ко-

---

<sup>1</sup> Ка ф р (от арабского каффир — неверный) — распространенное среди белых расистов Южной Африки презрительное обращение к африканцам.

ричевую кожу проступили желтые костяшки. Наконец она немного пришла в себя, расслабилась, сбросила скорость и опять почувствовала смертельную усталость. Она уже выехала за город, а дети все еще молча неотрывно глядели на нее, понимая, что произошла какая-то неприятность. Наконец Рей отважился спросить:

— Значит, нет кофе, мамуля? А где же наш термос?

— Да, кофе нет, — ответила мать, — и боюсь, нам придется обойтись без него.

— Хочу кофе, — захныкала Зейда.

— Будь умницей, — сказала женщина сдержанно. — Мама устала, и, пожалуйста, перестань капризничать.

— Ты потеряла термос? — поинтересовался Рей.

— Помолчите, помолчите, — приказала мать, и дети больше не произнесли ни слова.

Они миновали окраину, пыльную заправочную станцию, перед которой, как часовые на посту, выстроились красивые бензocolонки со шлангами, проехали мимо какого-то человека с огромной вязанкой хвороста на голове и, наконец, оставили позади себя окраину этого маленького городка: кучку побеленных хибарок, копошившихся во дворах кур, покосившийся навес для стрижки овец со штабелями грязных тюков шерсти. Свесившись через забор, их провожал взглядом какой-то мужчина.

Дорога снова вгрызлась в выгоревшую желто-красно-коричневую землю, последние зеленые деревья отступали назад все дальше и дальше. Лучи солнца, словно полуденные привидения, покачивались и плясали по однообразной равнине, а шины колес чуть слышно шуршали по черному раскаленному асфальту. Впереди мчались другие автомобили, но женщина и не пыталась их догонять.

— А папа будет нас катать на машине? — прервал молчание Рей.

— Конечно, я знаю, — уверенно сказала Зейда. — Мне эта машина нравится больше, чем дяди Айка.

— Зато он нас часто катал, — ответил Рей и вдруг встрепенулся: — А вон опять эта смешная птичка!

— Мамуля, а потом у нас будет кофе? — не выдержала Зейда.

— Возможно, дорогая, успокойся. Посмотрим, — сказала мать.

По обе стороны дороги по-прежнему мелькал высохший, пыльный ландшафт.



Передние машины стали замедлять ход, и мать тоже ослабила нажим на педаль акселератора.

— Посмотрите на эту гору, — вскричал Рей, — как она похожа на человеческое лицо!

— Это что, настоящее лицо? — спросила Зейда, вглядываясь.

— Вот глупая, — сказал Рей, — как же это гора может быть настоящим лицом? Она только похожа на него.

Передняя машина пошла совсем медленно, и мать, высунувшись в окно, увидела, что на шоссе пробка. Дорогу загородил небольшой полицейский автофургон «лендровер» с толстой проволочной решеткой на окнах и прожекторе. Прямо напротив фургона, поперек дороги, стоял другой запыленный автомобиль. Между ними оставалось пространство, достаточное для проезда лишь одной машины. Прислонившись к крылу этого автомобиля, стоял полицейский в рубашке, брюках и фуражке цвета хаки с автоматом системы «Стен» наперевес. Еще один блюститель порядка сидел за рулем, а третий полицейский стоял в проезде и после внимательного осмотра водителей пропускал машины вперед.

Шедший впереди автомобиль остановился в проезде. Констебль взглянул на водителя, отступил назад и махнул рукой. Машина ожила, рванулась вперед и помчалась.

Констебль повернулся к следующей машине, поднял руку, а сидящая за рулем женщина почувствовала, как у нее внезапно забилось сердце. Она затормозила и стала ждать, с тревогой наблюдая, как приближается к ней фигурка в хаки.

У полицейского было молодое, покрытое, как у всех здесь, красным загаром лицо, надежно защищенное от солнца блестящим козырьком фуражки. На губах его играла едва заметная улыбка, но глаза смотрели бесстрастно, как два твердых осколка гранита.

У него на поясе красовалась кобура с пистолетом. Подойдя к машине и обернувшись к товарищам, он крикнул:

— Похоже, она!

Полицейский с автоматом выпрямился, но не двинулся с места. Первый полицейский, все еще продолжая улыбаться, сказал:

— Тебя-то мы и поджидаем, а тебе, наверно, и не пришло в голову, что они позвонят?

Дети сидели как мертвые, испуганно вытаращив глаза.

— Что все это значит? — спросила мать, высовываясь из машины.

— А то ты не знаешь, что это значит! — оборвал ее полицейский и, смерив с ног до головы взглядом, кивнул: — Итак, красotka в коричневом костюме и темных очках, ты арестована.

— Я спрашиваю вас, что все это значит? — повторила женщина.

В голосе ее не было возмущения, лишь одна тревога за детей.

— Это неважно, скоро ты все узнаешь, — холодно отрезал констебль, — ты ведь наверняка из этих бунтовщиков, что вечно чинят беспорядки. В общем, хватит болтать, — полицейский уставился на нее своими ледяными глазами, — разворачивайся, да не вздумай выкинуть какой-нибудь трюк, слышишь?

Голос полицейского звучал властно и угрожающе.

— Куда вы нас забираете? Мне нужно отвезти детей в Кейптаун!

— Меня это не касается, — прервал ее констебль, — ты натворила тут дел и теперь должна за все расплатиться.

Он оглянулся и подал знак полицейской машине. Водитель включил мотор, сдал назад и развернулся.

— Следуй за ней, — приказал констебль, — мы едем назад.

Женщина молча развернула свою машину и поставила ее позади полицейской.

— Ну, а теперь еще раз повторяю, не вздумай шутить, — пригрозил констебль.

Женщина в упор взглянула на него, и глаза ее тоже сверкнули холодным блеском. Полицейский прошел назад, взобрался в автофургон. Передняя машина стала набирать скорость, женщина тронулась за ней, фургон двинулся следом.

— Куда мы едем, мамуля? — спросила Зейда.

— Сидите смирно, — ответила мать, следуя за полицейской машиной.

И опять помчалась перед глазами, но теперь уже в обратном направлении, красно-коричневая пыльная равнина; плоское голубое небо плясало и раскачивалось над ними, а сзади под ослепительно-желтым сиянием солнца простиралась покрытая колючим кустарником земля.

— Как хочется немножко кофе, — вздохнула маленькая Зейда.

## ПАРК



Он с завистью смотрел на детей, игравших по другую сторону ограды. Одни скользили с горки и прыгали, расставив ноги, на мягкую траву; другие катались на качелях и кричали от страха, когда взлетали чуть не к самому небу и оказывались почти в вертикальном положении; третьи кружились на карусели и весело визжали на особо крутых виражах. Глядя на них, он весь дрожал от нетерпеливого желания присоединиться к веселым играм. Он почти физически ощущал под собой доску, и ему казалось, что он держится не за прутья ограды, а за стальные цепи качелей. Рядом с ним на земле лежал завернутый в простыню узел с чистым наглаженным бельем.

Мимо пробежали, не обратив на него никакого внимания, пятеро малышей. За ними гналось двое подростков. Вдруг один из них остановился.

— Эй, коричневая обезьяна, ты чего тут глазеешь? — крикнул мальчишка, поднимая с земли кусок глины.

Этот мальчишка узнал его, он видел, как его однажды выгнали из парка. Комок ударился о прутья ограды прямо у него над головой и обсыпал ему лицо.

Он выплюнул кусочки глины и стал искать, чем отплатить обидчику, отделенному от него оградой. Но к тому присоеди-

лись другие мальчишки, и он понял, что силы слишком неравны. Тогда он молча стряхнул с узла землю, взвалил его на голову и ушел.

По дороге он вспоминал, как в последний раз побывал в парке. Он тогда смело прошел через ворота и сел на ближайшие качели. Даже сейчас он ощущал приятную дрожь в теле, которую испытывал, когда раскачивался, поднимаясь все выше и выше, и достигал той точки, где, казалось, он вот-вот перевернется вниз головой. Почти не тормозя, дал качелям остановиться, как останавливается маятник часов, у которых кончился завод, и побежал к доске-качалке. На одном ее конце сидел белый мальчик, его ровесник. Отталкиваясь от земли ногами, они стали качаться. Вдруг он почувствовал у себя на плече чью-то тяжелую руку. Он обернулся. Это был сторож.

— Слезай!

Он с удивлением поднял брови.

— Почему? Что я сделал? Он продолжал сидеть, держась за железное кольцо в доске. Белый мальчик спрыгнул, отошел в сторонку и стал наблюдать.

— Слезай, говорю! — Сторож старался говорить тихо, чтобы не привлекать внимание гуляющих, которые и без того уже начали собираться. — Муниципалитет запрещает цветным качаться на одних качелях с белыми. Ты можешь играть в парке возле своего дома. — Голос сторожа звучал так, как будто он просит извинения за то, что носит форму, которая дает ему право ходить по парку и следить за тем, чтобы белых детей не обижали и не мешали им играть.

— А там, где я живу, нет никакого парка. — Он указал рукой на свой квартал. — Это на другом конце города есть парк, но я не знаю точно, где он.

Он пошел к выходу мимо матерей с краснощекими капризными младенцами на руках, мимо детей, игравших на траве, мимо мальчика, который качался с ним на доске, мимо нянек в форменных платьях со значками на груди, толкавших перед собой коляски. Сторож шел рядом. У выхода он укоризненно ткнул пальцем в объявление и сказал, будто оправдываясь:

— Вот, читай.

Он с трудом прочел красные буквы на белой доске: «Blankes allen!!» («Только для белых!!»)

Он вышел за ворота. Позади скрипели качели, гремела доска-качалка и тархтела карусель.

Он шел мимо парка. После того случая его все время тянуло сюда.

Он поправил на голове узел, чтобы хоть немного утихла боль в плече, и подумал: «Ну что случилось бы с качелями, если бы я на них покатался? Перестали бы качаться? Или с горкой. Неужели сломалась бы?» А узел давил все сильнее, теперь уже и второе плечо заныло. Кто мог ответить на его вопросы?

Сам парк с его широкими лужайками, клумбами, каменными горками и карликовыми деревьями не представлял для него никакого интереса. Все его мысли были обращены к ярко раскрашенным трубам, на которых висят серебристые цепи и коричневые доски качелей, уносящие тебя в далекий сказочный мир. Лишь один-единственный раз в жизни (это было давно и как бы по странной случайности) ему довелось увидеть нечто более удивительное, чем этот парк. Как-то отец повел его (вообще-то он редко куда его водил) на ярмарку. Он стоял там очарованный деревянными конями в позолоченных уздечках, с красными седлами, кони мчались по кругу, опускаясь и поднимаясь в такт музыке.

На какой-то миг его посадили на коня, и он молил бога, чтобы этот миг никогда не кончился. Но он едва успел прошептать свою молитву, как волшебный миг пролетел. А потом он снова стоял в сторонке, держась за отцовы штаны и с завистью глядя, как на скачущих лошадях катаются другие.

Он снова поправил на голове узел. Вот и дом, куда мать велела ему доставить белье. Она стирала в круглом тазу, наполненном горячей водой, и лицо ее всегда было мокрым от пара. И голос у нее был таким же мягким и обволакивающим, как облака пара.

Он вошел в калитку и направился к задней двери дома. Навстречу ему, как всегда, выбежала старая болонка. Она хрипло лаяла и старалась ухватить его стертыми зубами за щиколотки.

Кухонную дверь открыла круглолицая девушка-африканка в белом накрахмаленном халате, отчего кожа ее казалась еще темнее. Впустив его, она взяла узел и положила на стол, предвзительно убрав все лишнее.

— Сейчас позову мадам, — сказала она, запинаясь и тщательно выговаривая слова. Ей с трудом давался английский. Она вышла, сверкая толстыми икрами, тесный форменный халатик чуть не лопался на ней.

— Ты уверен, что принес все? — спросила хозяйка. Она встречала его этим вопросом всякий раз, когда он приносил

белье, и перебирала вещичку за вещичкой, хотя не было случая, чтобы чего-нибудь не хватало.

Он посмотрел на нее и тихо ответил:

— Все, мадам.

Потом начался разговор, ставший для них привычным.

— Ты ел что-нибудь?

Он покачал головой.

— Ну, так не можем же мы отпустить тебя голодным, — сказала хозяйка, поворачиваясь к африканке в белом накрахмаленном халате. — Что у нас там осталось?

Служанка открыла холодильник и, достав тарелку с едой, подала на стол. Рядом поставила стакан молока.

Когда он сел, белая женщина ушла. Он остался один со служанкой. Смущение его прошло, теперь он мог сосредоточиться на содержимом тарелки.

Немного зеленого горошка и картофельного пюре, ложка натертой моркови, несколько ломтиков помидоров — вот и вся еда. Риса не было. «Чудные эти белые, — подумал он. — Разве этим наешься? Как был живот пустой, так и остался. Мама кормит лучше».

Покончив с едой, выпил молоко.

— Спасибо, — сказал он, отодвигая стакан.

Служанка улыбнулась, сверкнув белыми, как фарфор, зубами.

Он ерзал на стуле, ему не терпелось уйти из кухни с блестящим кафельным полом и белыми, как в больнице, эмалированными, под стать холодильнику, шкафчиками.

— Я вижу, ты уже посл. — Голос хозяйки заставил его вздрогнуть. Она протянула ему конверт с десятишиллинговой бумажкой — это была плата за недельный тяжкий труд его матери. — А это тебе. — Она сунула ему в руку шестипенсовую монету, оцарапав ладонь острым ногтем.

— Благодарю, мадам, — чуть слышно произнес он.

— Скажи матери, что я уезжаю в отпуск. Примерно на месяц. Когда вернусь, дам ей знать. — Она повернулась и ушла, стуча высокими каблуками.

Он кивнул служанке на прощание. Та взяла из вазы, наполненной фруктами, яблоко и дала ему. Ее лицо светилось улыбкой.

Шагая по дорожке, он доедал яблоко, откусывая большие куски. Он еще не дошел до калитки, когда почувствовал на ногах горячее дыхание собаки. Обернувшись, пнул ее в морду.

Ощерившись, собака хрипло залаяла. Он весело засмеялся: собака чем-то напоминала сейчас старикашку.

— Ну-ка еще! — Он помахал ногой перед самым ее носом.

Собака отступила и вперевадку пошла обратно. Она явно обиделась.

По дороге он думал о том, на что ему потратить шесть пенсов. «На пенни куплю лимонных леденцов, еще на пенни — «бычьих глаз»<sup>1</sup>, потом мешочек шербета, который пьют через лакричную трубочку, на пенни — красных ирисок, от которых язык и губы становятся алыми, как кровь». При мысли о сладостях у него потекли слюнки.

Он зашел в ближайшую лавку. На блюдах грудами лежали шоколадки и дорогие конфеты, каких никогда не увидишь в индийском магазинчике на углу его квартала. Он вышел, ничего не купив.

Дойдя до парка, он замедлил шаги. Нянек с детьми и колясками там уже не было. Их сменили старики. Скрестив руки на груди, они бросали неодобрительные взгляды на бегавших вокруг них и галдевших мальчишек. Вот упал в опасной близости от старика мяч, отлетевший от чьей-то ноги. И когда мальчик прибежал за ним, старик замахнулся на него палкой. Мальчик остановился было, но товарищи его торопили. Тогда он подкрался поближе, быстро нагнулся и схватил мяч. Старик швырнул палку, но промахнулся — она пролетела на расстоянии более фута от мальчика. С мячом под мышкой тот побежал к товарищам. Игра возобновилась.

Стоя за оградой, он смотрел на мальчишек, игравших в футбол, на детей, скакавших по траве, и даже на дряхлых стариков, сидевших на скамьях. Но больше всего его привлекали качели, куда не пускали.

— А мне плевать на них! — Он оглянулся, проверяя, не слышал ли кто-нибудь. — Плевать! — уже громче повторил он. — Плевать на все! На их парк, траву, качели и доску! Плевать! Плевать!

В бессильном гневе он маленькими руками тряс прутья ограды. И вдруг вспомнил, что целый месяц не увидит парк, ведь ему незачем будет проходить здесь. Это привело его в отчаяние. Надо что-нибудь сделать, чтобы отлегло от сердца. Рядом, на мусорном ящике, прикрепленном к столбу, стоял мешок с фруктовыми очистками. Подойдя ближе, он приподнял его над

<sup>1</sup> Конфеты драже.

головой и резким движением вывалил за ограду, после чего без оглядки пустился наутек.

Только пробежав три квартала, он замедлил шаги. Он задышался, покалывало сердце. Однако облегчения он не чувствовал, напротив, стало еще больнее. Он шел, не замечая прохожих, не слыша гудков автомобилей. Один раз его грубо толкнули, но он не обратил на это никакого внимания.

Знакомые гудки и запахи подсказали ему, что он пришел домой. Вид индийской лавки не развеял грусти. Он прошел мимо, и шестипенсовая монета осталась в кармане.

На тротуаре ребята играли автомобильными покрышками. Кто-то его окликнул, но он не отозвался и свернул в переулок. Он поднялся на крылечко двухэтажного дома с полинявшим фасадом неопределенного серого цвета. Штукатурка во многих местах облупилась, и проглядывали красные кирпичи.

Шагнув через порог, он очутился в полутемной комнате. Все здесь было настолько привычным, что он мог бы спокойно ходить с закрытыми глазами, несмотря на беспорядок.

Мать стряпала на кухне и что-то мешала в кастрюле, когда вошел сын. Она отложила ложку, разорвала конверт, который он ей отдал, потом сняла с полки чайник с отбитым носиком, вложила в него деньги и поставила обратно.

— Есть хочешь?

Он кивнул.

Она налила ему супа и отрезала толстый ломоть серого хлеба. Обжигаясь супом, он сообщил ей, что в ближайшую неделю ей не придется стирать.

— Почему? Что случилось? Что-нибудь не так?

— Ничего особенного. Просто хозяйка уезжает на месяц. Когда вернется, сообщит.

— Что же мне теперь делать? — жалобно спросила мать. Глаза ее устремились к чайнику с деньгами. — Не могла предупредить, — уже зло продолжала мать. — Я нашла бы другую хозяйку.

Наступила пауза.

— Работаю как лошадь, гну спину, а ей, видите ли, было трудно предупредить меня. На мой заработок мы все же прилично жили. Что же теперь будет?

Он ел и думал: «Неужели десяти шиллингов достаточно, чтобы прилично жить? Каждый день едим одно и то же. Денег никогда не хватает, и обновки получаем только раз в год, на рождество».

Он торопился доесть, чтоб уйти скорее от этих жалоб, пока они не захлестнули его и не заставили остаться на стуле и смотреть на несчастную мать.

На улице ребята все еще играли автомобильными покрывками. Он нехотя присоединился к ним. Катил шину, но душой был в парке на качелях. Ему казалось, что исчезли все преграды, что он может пойти туда и делать что хочет. Он был так далек сейчас от этих узких улочек, крикливых детей и мчащихся автомобилей.

Мысли его витали там, среди зеленых лужаек, красных труб и серебристых цепей. Мимо прокатилась покрывка, но он не заметил.

— Неси сюда покрывку. Заснул, что ли? Или неохота играть?

Он ушел, ничего не ответив. В нем бушевал гнев. Ему опротивели эти дома с грязными стенами и разбитыми окнами, где живет столько народа. Опротивели переполненные мусорные ведра у дверей. Надоели эти переулки и улицы. Ненавистен этот непонятный закон — закон, запрещающий ему ходить в парк.

Он горько заплакал и прижал руку к глазам, чтобы не текли слезы. Потом отнял руку и взглянул на подошедшего мальчика.

— Я не плачу, черт побери. Что-то попало в глаз, и натер его.

— А по-моему, ты плачешь.

Он оттолкнул мальчика и направился к лавке.

— Эй, плакса! — услышал он насмешливый голос.

Единственная витрина, прикрытая решеткой, была завалена товарами. Рядом с апельсинами лежала писчая бумага, по грифельным доскам рассыпались сушеные фиги; там же лежала запыленная одежда и стояла фаянсовая посуда. По витрине петоропливо, насторожив усики, полз таракан. В самой лавке было так же тесно, как и в витрине. Весь пол был заставлен мешками, оставался лишь узкий проход к прилавку. Хозяин, старый индеец с обветренным и загорелым, будто дубленным, лицом, перегнулся через прилавок и спросил:

— Тебе чего, мальчик? — Он улыбнулся, показав красные от бетеля зубы. — Что молчишь? Чего ты хочешь? Так и будешь стоять весь день? — Говоря это, он не переставал жевать бетель.

Мальчик попросил взвесить ему разных сластей, о которых

мечтал по пути. Высыпав конфеты в карман, он бросил разорванный пакет на пол. Хозяин что-то проворчал ему вслед и еще энергичней заработал челюстями.

Он перешел на солнечную сторону улицы и сел на тротуар, прислонясь к стене дома и подставив ласковому вечернему солнцу лицо.

«Бычий глаз», мятные лепешки, кусочек лакрицы — все перемешалось у него во рту. На какое-то время он забыл про парк. Он равнодушно смотрел на подходившую девочку.

— Мама сказала, чтобы ты шел кушать. — Она уставилась на его надутую щеку и почесала нос. — Дай!

Он протянул ей один шарик драже, который она, шмыгая носом, немедленно отправила в рот.

Вытри сопли, — сказал он тоном старшего и пошел домой.

Девочка поплелась следом, сопя и посасывая конфету.

Когда они вошли в кухню, отец уже сидел за столом.

Почему всегда надо за тобой посылать? — сказала мать.

Он сел было за стол, но тут же вскочил и побежал мыть руки: не хватало еще, чтобы мать ругала его за неряшливость!

Какое-то время все молчали. Слышно было лишь, как стучат по тарелкам ложки и шмыгает носом сестренка.

В самом конце обеда ему в голову вдруг пришла одна мысль, которая так его потрясла, что он застыл с поднятой ложкой. Почему бы не пойти в парк, когда стемнеет? Тогда там не будет ни стариков, ни детей, ни няnek с колясками. Никто не помешает наверняка!

Мысль эта вытеснила все остальные. Голова пошла кругом. Голос матери, сообщавшей отцу о событиях дня, уже казался ему не обволакивающим, как пар, а, скорее, тихим, как ветерок где-то вдаль. Но тут же его охватили сомнения. Он никогда не бывал в районе парка поздно вечером. Грудь его словно сжало от страха, к горлу подступил комок. Он стиснул ложку так, что побелели пальцы.

«Все равно пойду! — сказал он себе. — Вот поем и пойду». Он с трудом владел собой, мигом проглотил все, что оставалось в тарелке, и украдкой проверил, много ли оставалось у других. Скорее! Скорее!

Как только отец отодвинул от себя тарелку и закурил, он быстро убрал со стола и принялся мыть посуду. Вымытые тарелки и ложки передавал сестре, которая их вытирала, не переставая шмыгать посом в такт движениям рук.

Покончив с посудой, он подмел кухню и вынес мусор.

— Можно мне пойти поиграть, мама?

— Иди, только не заставляй меня опять за тобой посылать.

Отец молчал, погрузившись в чтение газеты.

— Пока ты еще не ушел, зажги лампу и повесь ее в коридоре, — попросила мать.

Он налил в лампу парафинового масла, вывернул фитиль и зажег. Грязное стекло плохо пропускало свет.

Луна казалась ему флуоресцирующим шаром, излучающим холодное сияние, а звезды — ее осколками. Под уличными фонарями сидели люди и играли в карты. В подъездах домов, несмотря на полутьму, можно было различить целующиеся парочки.

Выбравшись из своего района, он побежал рысцой. Даже волшебный мир витрин в деловой части города не мог заставить его замедлить шаг.

Но по мере того как он приближался к парку, пыл его угасал, и он едва волочил ноги.

Вот и парк с его воротами и железной оградой. За оградой, на шесте доска с объявлением. Вдали качели. Их вид придал ему бодрости.

Тяжело переводя дух, он пошел вперед. Было тихо и безлюдно. Из-за угла вывернулся автомобиль и испугал его шумом мотора. Но он промчался мимо, тихо шурша шинами по асфальту.

Прикосновение к холодным как лед металлическим прутьям подбодрило его. Он по-обезьяньи вскарабкался на ограду и спрыгнул на мягкую землю. На влажной от росы траве остался след. Он побежал, подминая ее босыми ногами.

Он перебегал от качелей к карусели, от доски-качалки к горке, цепляясь руками за металлические части. Вот он на горке. Его силуэт вырисовывается на фоне неба. Он чувствует себя парящим в высоте орлом. Он падает на живот и стремительно скользит вниз. Вот так! Упав на траву, переворачивается на спину. Глянул на лупу, вскочил на ноги и побежал к горке, чтобы снова испытать чувство полета. Ему хочется, чтобы скольжение продолжалось вечно. Так бы вот скользить, скользить всю жизнь.

Он с сожалением посмотрел на доску-качалку. Один не покаешься. Утешил себя тем, что ударил по ней рукой. Доска качнулась и ткнулась одним концом в землю.

— А, наплевать!

Он подошел к карусели, попробовал сдвинуть ее с места. Упершись ногой в землю, стал толкать сиденье вперед. Мало-помалу карусель подалась. Он толкнул сильнее и, вскочив на сиденье, свесил одну ногу, чтобы успеть оттолкнуться, когда движение начнет замедляться. Карусель стала двигаться волнообразно. Он не столько катался, сколько работал ногой. Нет, с каруселью ничего не выйдет. Не желая портить удовольствие, он соскочил на землю и ринулся к качелям.

Широко расставив ноги и вцепившись руками в серебристые цепи, он начал энергично раскачиваться, то сгибаясь, как спринтер, то резко выпрямляясь. Качели взлетали все выше и выше. Ему казалось, что он парит в небе и может дотронуться до луны, сорвать звезду и приколоть ее к своей груди. Земля была где-то далеко внизу. Ни одна птица не может взлететь так высоко, как он. А он летит все выше, все дальше.

Вдруг в дальнем конце парка, где стояла сторожка, вспыхнул огонек и расплылся желтым пятном на фоне темного квадрата. Дверь сторожки открылась, и в проеме показалась темная фигура. Человек закрыл за собой дверь и направился прямо к мальчику. Тот понял, что это сторож.

Он продолжал качаться.

Сторож остановился напротив, в почтительном отдалении от качелей, и, хотя луна ярко светила, направил на него фонарик. Луч света застиг мальчика в воздухе.

— Проклятие! — выругался старик. — Я же говорил тебе, что нельзя!

Ответом ему было лишь звяканье цепей, когда мальчик переминался с ноги на ногу.

— Почему же ты опять здесь?

— Качели. Я хотел на качели.

Сторож задумался: чего только не терпят люди лишь потому, что они цветные! Даже его собственное благополучие зависит от милости белых!

— Проклятые белые! Им все можно!

Сторож искренне желал оставить мальчика в покое, пусть поиграет в свое удовольствие, однако страх, что кто-нибудь увидит, ожесточил его.

— Слезай! Убирайся домой! — грубо закричал он. Но был он зол не на мальчика, а на законы, натавливающие его на своих же братьев. — Не слезешь, вызову полицию. Знаешь, что тебе за это будет?!

Качели продолжали взлетать и падать.

Сторож быстро зашагал к воротам.

— Мама, мама! — шептал мальчик дрожащими губами; как он хотел бы сейчас сидеть в маминной кухне возле не остывшей еще плиты, с книжкой на коленях! — Мама, мама!

Голос его становился тем выше, чем выше взмывали качели. Голос и качели. Качели и голос. Выше, выше, выше. До тех пор, пока они не слились в одно целое.

У входа в парк шест с объявлением отбрасывал длинную тень-стрелу, которая как бы указывала на мальчика.

## СПАЙК



Его настоящее имя было Абрахам Мóлети-сейн, но все звали его Спайк. Как истинное дитя города, он был веселым, беззаботным и внешне благопристойным, при этом он отличался послушанием и постоянной готовностью услужить. Не чужды были ему также аккуратность, чистоплотность и некоторое щегольство.

Спайка тяготила скучная форма колонниста, состоявшая из блузы и шорт цвета хаки, поэтому он носил красивый шарф, а из верхнего карманчика его рубашки кокетливо выглядывал уголок желтого носового платка. Были еще у Спайка две пары ботинок — черные и белые, а на фуражке красовалось маленькое, но яркое перо.

В нашей колонии носить собственную одежду разрешалось лишь в нерабочее время, однако Спайк не расставался со своим красным шарфом, ссылаясь на то, что у него болит горло; в этих случаях лицо его выражало полную искренность, которая сменялась загадочной улыбкой, если на него смотрели долго и пристально. Вообще он имел привычку, когда с ним разговаривают, отводить взгляд в сторону и улыбаться каким-то своим мыслям. Спайк прошел первые этапы пребывания в исправительно-трудовой колонии весьма успешно.

Его навещали две группы посетителей: одна состояла из тру-

женицы-матери и младшей сестры, вторая — из кричаще одетых городских ребят. Эти две группы никогда в колонии не встречались. Мне думается, что Спайк сам это специально устраивал. Мы не поощряли визитов второй группы посетителей, однако и не запрещали им приходить, поскольку вели они себя пристойно. К тому же это давало возможность лучше познакомиться с окружением Спайка.

Однажды мать и сестра Спайка привели с собой еще одну посетительницу — молодую симпатичную девушку по имени Элизабет, такую же скромную и опрятную, как они сами. Спайк сказал мне, что мать хочет, чтобы он женился на этой девушке, но она оказалась очень независимой и не желает и слушать о свадьбе, пока Спайк окончательно не исправится и не порвет с этой шпаной.

— Ну, а ты что думаешь, Спайк?

Он, как обычно, смотрел не на меня, а в потолок, лишь время от времени поглядывая мне в глаза. Не знаю, о чем он тогда думал, но для меня стало ясно, что он начинает чувствовать доверие к нашей колонии.

— Ее не устроит простое обещание, — ответил Спайк. — Ей нужно, чтобы я поклялся перед всеми, когда начальник переведет меня на свободный режим.

— Объясни мне, что означает «перед всеми»?

— Это означает: перед моей и ее семьей.

— И ты согласен это сделать?

Спайк расплылся в улыбке, по-прежнему уставившись в потолок, словно его посетила тайная, но упоительная радость. Возможно, он ощущал восторг от того, что ему предстоит решить свою судьбу самому. Не знаю. Или его развлекало то, что он держит в неизвестности относительно своего решения две семьи и целую колонию, — тоже не знаю.

Вдруг лицо Спайка стало серьезным, и он сказал:

— Если я дам ей обещание, я сдержу его, но меня не нужно принуждать.

— Никто тебя и не принуждает, — сказал я.

Он опустил голову и посмотрел на меня так, словно перед ним стоит человек, не знающий, на что способны женщины.

Хотя считалось, что Спайк слабохарактерный, он успешно преодолевал все искушения, связанные со свободным режимом. Через несколько месяцев ему было разрешено даже проводить

дома субботу и воскресенье. Он уходил и возвращался с гордо поднятой головой точно в назначенное время. Я до сих пор не понимаю, как это ему удавалось, ибо часов у него не было, но не помню ни одного случая, чтобы он опоздал. Как раз после того, как Спайку было предоставлено это право, к нам в колонию поместили одного из его городских дружков. Звали его Уолтер. Через неделю после его прибытия он и Спайк подрались, и их обоих прислали ко мне. Уолтер заявил, что Спайк ударил его первым, и Спайк не отрицал этого.

— Почему ты ударил его, Спайк?

— Он оскорбил меня, господин начальник.

— Каким образом?

Спайк помолчал, очевидно обдумывая ответ, и затем произнес:

— Он сказал, что я уже совсем исправился.

Мы не могли удержаться от смеха, но я видел, что Спайку наш смех непонятен, и он не обижается на нас лишь потому, что знает, как хорошо мы к нему относимся.

— Ну, а если бы я сказал тебе, Спайк, что ты исправился, ты тоже счел бы это за оскорбление? — спросил я.

— Нет, господин начальник.

— Почему же ты обиделся на Уолтера?

Вопрос поставил Спайка в тупик. Помолчав, он сказал:

— Этот парень хочет втянуть меня в беду. Он заявил, что я должен буду вернуться в их компанию, когда выйду отсюда.

— Ты действительно говорил ему это? — спросил я Уолтера.

— Да нет, ничего подобного, господин начальник, — ответил Уолтер тоном человека, оскорбленного до глубины души.

После их ухода я послал за Вильерсом, в чьи обязанности входило поддерживать связь с семьями колонистов в Йоганнесбурге. В данном случае мы имели дело с довольно обычной историей. Мать Спайка осталась вдовой с сыном и дочерью на руках. Ей удалось справиться с дочерью, а сын связался с преступной уличной шайкой. Во время одного из их «подвигов» он был арестован, попал на скамью подсудимых, но сообщников не выдал. Затем его направили к нам в колонию. Оторвавшись от дурной компании, Спайк понял свою ошибку и решил изменить образ жизни: порвать навсегда с шайкой, получить с помощью Вильерса какую-нибудь работу, жениться на Элизабет и зажить счастливо в доме своей матери.

Неделю спустя Спайк снова пришел ко мне.

— Господин начальник, вы должны запретить друзьям Уолтера появляться в колонии.

— Почему, Спайк?

— Они что-то замышляют против меня.

Спайк больше не улыбался, он выглядел взволнованным и подавленным.

Я позвал Вильерса, и мы стали обсуждать создавшееся положение, разговаривая на африкаанс<sup>1</sup>. Спайк плохо понимал этот язык. Он переводил взгляд с меня на Вильерса, стараясь вникнуть в суть нашей беседы.

Допустим, я запрещаю этим ребятам появляться в колонии, чем это поможет Спайку? Не озлобятся ли они против него еще больше? В конце концов, не можем же мы перевоспитать всех. Мы делаем все возможное, чтобы исправить ребят, попавших к нам в колонию, но когда человек выходит из колонии, он оказывается снова предоставленным самому себе. Правда, Вильерс старается не упускать из виду бывших колонистов, но его возможности при этом довольно ограничены.

Я взглянул в огорченное лицо Спайка, и моя тревога за него усилилась. Я понимал, как ему трудно порвать цепи, приковывающие его к этой банде. Спайк пристально смотрел на нас, и я видел, что он чувствует себя отверженным и страстно желает обрести прежнее положение.

— Ты понял, о чем мы говорили, Спайк?

— Не все, господин начальник.

— Мы решали, как нам лучше поступить: запретить этим ребятам приходить сюда или нет?

— Запретить, — решительно сказал Спайк.

— Видишь ли, они могут сказать: «Он за это ответит», — возразил я.

— Господин начальник не понимает, — ответил Спайк. — Мой срок в колонии подходит к концу. И мне бы не хотелось, чтобы до моего ухода со мной произошла беда.

— Меня не беспокоят неприятности, которые могут произойти с тобой здесь, — сказал я твердо. — Меня больше заботит, что с тобой будет после выхода из колонии.

Спайк растерянно глядел на меня. Ему показалось, что я не понял смысла сказанного им.

— Меня не тревожат неприятности здесь, — повторил я убежденно. — Здесь я смогу постоять за тебя. Неужели ты сомнева-

<sup>1</sup> А ф р и к а а н с — язык буров, основанный на голландских диалектах.

ешься в том, что я сумею отстоять справедливость, если кто-либо посягнет на нее?

Спайк не сомневался в том, но тревога его все возрастала.

— Ты все же настаиваешь на том, чтобы я запретил им появляться здесь?

— Да, господин начальник.

— Мистер Вильерс, — сказал я, — выясните все, что только сможете, насчет этих ребят и доложите мне. А с тобой, Спайк, — я повернулся к нему, — мы еще обсудим вдвоем, как нам лучше поступить.

— Это отпетые негодяи, — говорил мне Вильерс несколько дней спустя, — абсолютно бесконтрольные: они все уже давно ушли от родителей и живут у Джорджа, главаря шайки... Мать Джорджа окончательно махнула на сына рукой, но она уже старая женщина и во всем зависит от него. Сын дает ей деньги, она готовит для них всех пищу, а на остальное закрыла глаза.

— И они не выпустят Спайка из своих рук? — спросил я.

— У меня нет точных доказательств, — сказал Вильерс, — но дело здесь обстоит как-то странно. Они не хотят отпускать Спайка, потому что он умный и смелый парень. Он готовил для них планы палестов, и на «работе» они беспрекословно подчинялись ему, а в остальное время они слушаются только Джорджа.

— Вы видели Джорджа?

— Да, видел. Думаю, что он скверный парень — замкнутый и злобный. Кроме того, физически он намного крупнее и сильнее Спайка. Встань такому поперек дороги — глотку перегрызет, — убежденно закончил Вильерс.

Мы оба ощущали подавленность, размышляя о судьбе Спайка.

— Спайк намного порядочнее их всех, — сказал Вильерс. — Очень жаль, что он с ними связался. А теперь, когда он захотел порвать с ними...

Вильерс не закончил фразы.

— Давайте позовем его, — решил я.

— Мы познакомились с этими друзьями Уолтера, — сказал я Спайку, когда он вошел, — и должен тебе сказать, они нам совсем не понравились. Однако давай подумаем, поможет ли делу, если мы запретим им появляться здесь. Я лично в этом не уверен, но сделаю так, как ты скажешь.

— Господин начальник должен запретить им бывать здесь, — заявил Спайк не задумываясь.

Я выполнил просьбу Спайка.

Они выслушали меня молча — без робости и без обиды, но и без дерзостей. Они не стали меня ни о чем просить, не стали протестовать. «Хорошо, сэр», — только и сказал Джордж и, повернувшись, вышел. Его дружки один за другим последовали за ним.

Когда воспитанник покидает колонию, радости его обычно нет конца, и он ее не скрывает. Из кабинета, где проводится заключительная беседа, он выходит с видом человека, сбросившего с плеч огромную тяжесть.

Но Спайк был грустным.

В кабинете, кроме меня, присутствовал только Вильерс, и я спросил:

— Спайк, скажи мне честно, тебе не страшно?

— Нет, я ничего не боюсь, — сказал Спайк, не поднимая глаз.

Он считал, очевидно, что страх — дело личное и признание не усилит и не ослабит его.

Выйдя из колонии, Спайк женился.

Мы с Вильерсом подарили ему на свадьбу часы, чтобы он не опаздывал на работу. Он устроился на завод, работал отлично, откладывал деньги, экономил даже на одежде.

Но прежняя живость и беспечность, казалось, покинули его навсегда. Прямо с завода Спайк возвращался домой и уже никуда больше из дома не выходил.

Из колонии Спайк освободился летом, а с приближением зимы, когда дни стали короче, он попросил Вильерса похлопотать за него на заводе, чтобы его отпускали с работы на полчаса раньше, потому что ему хотелось попадать домой до наступления темноты. Но администрация завода не могла этого разрешить: Спайк находился на таком участке, где отсутствие одного человека тормозит весь процесс.

Вильерс дождался Спайка с работы и сообщил ему об отказе. Спайк совсем приуныл.

— Они что, угрожают тебе? — спросил Вильерс.

Спайк долго молчал, потом ответил с непоколебимой уверенностью:

— Они так или иначе разделаются со мной.

Спайк потерял последнюю надежду и больше не хотел говорить об этом, как человек, испытывающий острую боль, не же-

ласт рассказывать о ней, а предпочитает переносить ее молча и в одиночестве. Эта безнадежность передалась его жене, матери и сестре, все они были охвачены глубоким отчаянием. Вильерс заметил, что на дверях и окнах их дома появились новые решетки и запоры.

Он ушел от них с тяжелым сердцем, Спайк проводил его до калитки.

— Можно мне носить с собой нож? — спросил его Спайк.

Вопрос был настолько трудным, что рассердил Вильерса, и он ответил довольно резко:

— Как могу я дать тебе такое разрешение?

— Я слушаюсь вас, мистер Вильерс, мать, сестру и жену, — сказал Спайк и, повернувшись, ушел в дом.

Вильерс вернулся в колонию в еще более подавленном настроении. Его состояние передалось и мне.

Мы решили, что он возьмет Спайка под свой неусыпный надзор, будет навещать его чаще, чем других ребят. Но Вильерс сделал даже больше. Он стал встречать Спайка у заводских ворот и провожать его до дому, всячески стараясь поддержать и приободрить парня, но изменить настроение юноши ему не удалось.

— Сэр, — сказал как-то Спайк, — вы сделали для меня все возможное.

На следующий вечер Спайка нашли мертвым у калитки его дома, в груди у него зияла пожевая рана.

Хотя я и ожидал такого конца, смерть Спайка так потрясла меня, что я не находил себе места, не мог работать.

Я долго сидел у себя в кабинете, подавленный и опустошенный, затем послал за Уолтером.

— Я позвал тебя, чтобы сказать, что Спайк убит.

Уолтер ничего не ответил, и по выражению его лица нельзя было понять, жалеет ли он Спайка или нет. Казалось, ему было совершенно безразлично, жив он или мертв. Он стоял спокойный, покорный, почтительный, готовый уйти по первому моему слову или стоять так целую вечность.

— Он мертв! — закричал я. — Ты слышишь, он мертв, его убили! Неужели тебя это не трогает?

— Нет, почему же? Трогает, — ответил Уолтер.

Он проявил бы больше чувств, если бы я добивался этого. Он смотрел на меня в упор, не мигая, готовый выполнить любое мое указание, но между ним и мною пролегла глубокая, непреодолимая пропасть, и ничто на свете — ни боль, ни обида, ни ра-

дось, ни печаль — не могло хоть как-то сблизить нас и помочь попить друг друга.

Я безнадежно махнул рукой и отпустил его.

Мы с Вильерсом пошли на похороны и выразили соболезнование матери, жене и сестре Спайка. Но наши слова были тщетными, ибо на кладбище царил не просто печаль, а нечто более глубокое. Все мы, белые и черные, образованные и неграмотные, — все, кто был в этот час на кладбище, стояли, согнувшись от ощущения, что нам угрожает страшная опасность, против которой мы бессильны.

Здесь нельзя было белому человеку надеть на себя мантию силы и власти, ибо эта смерть вскрыла их ложность.

Смерть эта как бы сконцентрировала в себе все зло нашего общества и показала, что силы зла и угнетения не остановятся перед уничтожением тех, кто стоит на их пути. Эту смерть можно будет забыть лишь тогда, когда произойдет полное переустройство всего нашего общества и подобные преступления станут невозможными.



Из шестисот обитателей исправительной колонии около ста были в возрасте от десяти до четырнадцати лет. Мое начальство время от времени собиралось организовать для этой группы детей нечто вроде трудовой школы, и это было бы очень разумно, ибо их проступки были незначительными и вдалеке от взрослых преступников они бы быстрее исправились.

Если бы такую школу открыли, я бы с удовольствием стал ее директором, так как работать там было бы легче. Мальчики инстинктивно тянутся к добру, с помощью которого ими можно легко и естественно управлять.

Я заметил, что во время поверки, занятий или игры в футбол некоторые мальчишки исподтишка, но пристально наблюдают за мной. Иногда я заставлял их врасплох, показав, что вижу эти уловки, и они с чувством удовлетворения прекращали наблюдение за мной и переключали внимание на происходящее. Ну, а я понимал, что мой авторитет благодаря этому растет и крепнет.

Эти тайные отношения между мною и детьми были для меня неперескаемым источником радости. Конечно, если бы они были моими собственными детьми, я бы сильнее выражал свои чувства.

Часто во время проверки при полной тишине и порядке я пробирался через строй и останавливался рядом с одним из ребят. Тогда он, глядя прямо перед собой, слегка хмурился от напряжения, вызываемого сочетанием детского волнения с желанием проявить мужское равнодушие к тому, что я стою рядом с ним.

Я, бывало, чуть дерну его за ухо, а он благодарно улыбнется в ответ или, наоборот, сильнее нахмурит брови. Естественно, что такую ласковость я внешне проявлял только по отношению к самым маленьким. Но некоторые старшие мальчики замечали ее и воспринимали как знак того, что она распространяется и на них.

Когда колония переживала очередной период волнений и неприятностей и в отношениях между колонистами и администрацией появлялась отчужденность, эти простые и естественные жесты приносили облегчение и служили как для меня, так и для детей подтверждением того, что, в общем, ничего не изменилось.

По воскресеньям, когда мне приходилось дежурить, я приезжал в колонию на машине и наблюдал, как отпускают в увольнение ребят, уже переведенных на свободный режим. За этой простой процедурой обычно следили десятки других детей, которым еще не разрешалось выходить за ворота.

— Через столько-то недель и я выйду на улицу, — говорили они друг другу.

Среди выпущенных ребят бывали и малыши, и я по очереди возил их в своей машине. Мы выезжали на Почефстром-роуд с ее бесконечным потоком автомобилей, проезжали перекресток Ба́рагванас и по улице Ван В́икрус возвращались обратно в колонию. Я беседовал с ребятами об их семьях, родителях, братьях, сестрах и делал вид, будто ничего не знаю ни о Дурбане, ни о Порт-Элизабет, ни о Почефстроме или Клокола́не, спрашивая у них, больше ли эти города, чем Йоганнесбург.

Одного из этих мальчиков звали Ха-пенни. Ему было около двенадцати лет. К нам его прислали из Блумфонтейна. Это был самый говорливый из всех ребят. Мать его работала в доме белого господина, у нее было еще четверо детей — два сына и две дочери. Братьев Ха-пенни звали Ричард и Дикки, а сестер Анна и Майна.

— Ричард и Дикки? — спросил я.

— Да, господин начальник.

— По-английски Ричард и Дикки — это одно и то же имя, — сказал я.

Когда мы вернулись в колонию, я попросил принести личное

дело мальчика, где было написано черным по белому, что Ха-пенни круглый сирота и не имеет никаких родственников. Он переходил из одного дома в другой, но всюду проявлял крайнюю строптивость и непослушание, кончив тем, что стал мелким ворышкой на рынке.

Затем я послал за книгой регистрации писем и увидел, что Ха-пенни регулярно писал к миссис Бетти Маарман в Блумфонтейн, на Влак-стрит, 48; пока он не научился писать сам, за него это делали другие. Но миссис Маарман ни разу не ответила ему. На вопрос, почему она не отвечает, Ха-пенни обычно говорил, что она, наверное, больна. Я тут же сел и написал письмо в Отдел социальной службы по работе с безнадзорными детьми Блумфонтейна с просьбой выяснить обстоятельства этого дела.

В следующий раз, катая Ха-пенни в машине, я снова заговорил с ним о его семье. Он опять повторил ту же самую версию о матери, двух братьях и двух сестрах. Но, называя имя брата «Дикки», он на этот раз произнес первую букву более глухо, и имя прозвучало как «Тикки».

— Мне кажется, ты говорил раньше «Дикки»? — сказал я.

— Нет, я говорил «Тикки», — возразил он.

Ха-пенни как бы читал мои мысли, и я понял, что этот сирота из Блумфонтейна —мышленный паренек, ведь он рассказал мне историю о своих родственниках, придуманную им самим, а сейчас так находчиво изменил всего одну букву, чтобы оградить себя от дальнейших вопросов. Я понял также другое: ему стыдно признаться, что он сирота, и он придумал себе родственников, дабы никто не узнал, что у него нет ни отца, ни матери и вообще ни одного родного человека, который бы поинтересовался, жив он или нет. Все это заставило меня проникнуться к ребенку сочувствием, и я из всех сил старался проявить к нему отеческую заботу.

Затем из Отдела социальной службы Блумфонтейна пришел ответ: миссис Бетти Маарман действительно проживает в этом городе на Влак-стрит, дом 48, и имеет четверых детей: Ричарда, Дикки, Анну и Майну, однако Ха-пенни не является ее сыном. Она знает его лишь как беспризорного уличного мальчишку. Она никогда не отвечала на его письма потому, что в них он обращается к ней «мама», а она ему не мать и вовсе не намерена играть эту роль. Она порядочная женщина, верная прихожанка святой церкви и не собирается портить свою семью, связав ее с подобным ребенком.

Для меня же Ха-пенни был обычным правонарушителем. Но

его стремление иметь родных было настолько сильным, поведение в колонии таким безупречным и желание быть вежливым и послушным столь искренним, что я почувствовал себя обязанным обратить на него особое внимание, поэтому я стал его расспрашивать о «матери». Его восторгам и похвалам не было конца, он не мог остановиться. Она любящая, честная и строгая, дом всегда содержит в чистоте и очень любит всех своих детей. Было ясно, что этот бездомный ребенок привязался бы к ней точно так же, как уже привязался ко мне, что он постоянно наблюдал бы за ней точно так же, как наблюдал за мной, но что он не знает секрета, как проникнуть к ней в душу и тем самым спастись от своего одиночества.

— Почему же ты занимался воровством, имея такую прекрасную мать? — спросил я.

Ха-пенни молчал. У него не было ответа. Весь его ум, вся его находчивость не могли найти ответа на этот вопрос, ибо он отчетливо понимал, что, будь у него такая мать, он никогда не стал бы воровать.

— А имя того мальчика все же не Тикки, а Дикки, — закончил я.

И тут Ха-пенни понял, что обман его раскрыт. Другой бы на его месте, возможно, возразил: «А я вам и сказал Дикки», но Ха-пенни был слишком умен, он понял, что раз уж я сумел выяснить подлинное имя мальчика, то узнал и все остальное. Меня поразила внезапная перемена, которая произошла после моих слов во всем облике Ха-пенни. Вся его уверенность и бравада вдруг испарились, и передо мной стоял не ребенок, просто уличенный во лжи, а бездомный мальчик, имевший мать, братьев, сестер и вдруг их лишившийся. Я разрушил основание, на котором держались его гордость и чувство собственного достоинства.

Он вскоре серьезно заболел, врач признал у него туберкулез. Я послал подробное письмо миссис Маарман, рассказав, как маленький Ха-пенни любит ее и как мечтает о том, чтобы она считала его своим сыном.

Миссис Маарман ответила, что не может взять на себя ответственность за этого ребенка. Во-первых, по национальности он басүто, а она цветная, во-вторых, ее собственные дети всегда отлично ведут себя, зачем же ей брать в дом испорченного мальчика?

Туберкулез — не обычная болезнь. Иногда он внезапно проявляется у совершенно здорового человека и стремительно сжигает его. Ха-пенни отрешился от всего мира — от всех этих



начальников и матерей, и врач заявил, что надежды на его выздоровление мало. В отчаянии я послал миссис Маарман деньги, чтобы она приехала.

Она действительно оказалась доброй, порядочной женщиной и, почувствовав серьезность положения, без лишних слов приехала к Ха-пенни, как к своему сыну. Вся колония приняла ее за его родную мать. Она целыми днями просиживала у постели Ха-пенни, рассказывая ему о Ричарде и Дикки, об Анне и Майнсе, о том, как они ждут его возвращения домой. Она щедро дарила ему материнскую любовь, не боялась заразиться и делала все, чтобы удовлетворить его потребность быть сыном. Она рассказывала ему о том, что они будут делать, когда он вернется домой, как он пойдет в школу и что они купят на праздник.

Все свое внимание он отдавал ей, и, когда я заглядывал к нему в палату, он был мне благодарен, но я явно отошел на второй план. Я чувствовал себя виноватым в том, что, догадавшись о существовании его мечты, не понял, сколь она была громадна.

Как я казнил себя, что не проявил к этому ребенку большей тонкости, мудрости и душевной щедрости!

Мы похоронили Ха-пенни недалеко от колонии.

— Когда будете ставить крест, напишите, что он был моим сыном, — сказала миссис Маарман, — мне стыдно, что я не взяла его к себе.

— Но он бы заболел, — сказал я.

— Нет, — возразила миссис Маарман, покачив головой, — никакая бы болезнь к нему не пристала, а если бы он даже и заболел дома, то все было бы по-другому...

Так закончился ее необычный визит в нашу колонию. Она вернулась в Блумфонтейн, а я остался с другими детьми, твердо решив исполнять свою миссию более чутко и умело.

НАЗЫВАЙ МЕНЯ «МИССИС»



Паренек поднялся по ступенькам маленького дома, где помещалась почта, и прошел через дверь с табличкой «Только для неевропейцев». Пять шагов — и вот он уже у конторки в той части дома, которая отделена деревянной перегородкой от большого помещения, предназначенного «только для свроейцев».

Паренек посмотрел через медную решетку, тянувшуюся вдоль всей полированной стойки. В углу, перед коммутатором, сидела пожилая телефонистка в очках. Она читала какую-то книгу, вероятно роман, и пальцами левой руки медленно тербила завитые пепельные с голубым отливом волосы. Женщина помоложе — начальница почты — лениво смотрела сквозь зарешеченное окно на улицу, что-то про себя напевая. На почте больше не было ни души.

Прождав с минуту, подросток кашлянул.

Начальница медленно повернула голову. При виде подростка глаза у нее сузились: она его узнала. Тут же, отвернувшись, она снова уставилась в окно.

Подросток кашлянул еще раз.

— Ну что тебе надо? — спросила женщина, не поворачивая головы.

— Пожалуйста, две марки по два пенса.

Женщина, с гордо поднятой головой, упершись руками в широкие бока, медленно сделала четыре шага по направлению к стойке. Она остановилась прямо перед подростком. Ее серые глаза так и впились в него.

— Скажи «миссис» или убирайся вон!

Телефонистка, оторвавшись от романа, с интересом уставилась на них. Парень молчал.

— Если не скажешь «миссис», то не получишь никаких марок.

— Послушайте, меффрау<sup>1</sup>, мне нужно всего две двухпенсовые марки. И я сказал «пожалуйста». Разве этого недостаточно?

— Скажи «миссис» или убирайся вон!

Секунду он в упор смотрел на нее, потом пожал плечами и двинулся прочь.

— Просто беда с этими кафрами, посещающими школу. Они становятся такими нахальными, — сказала телефонистка угодливым тоном и снова уткнулась в книгу.

Молодая женщина перво прошла вдоль стойки.

— Но я научу этого коротконосого, как нужно себя вести, даже если вылетчу из-за этого с работы. Я ничего не продам ему, пока он не скажет мне «миссис».

Тем временем в комнату тихо вошел мальчик лет восьми. Ноги его были в пыли и казались слишком большими для его роста. Он внимательно посмотрел на двух женщин, потом, еле доставая до стойки, протянул правую руку, в которой была зажата мокрая от пота шестипенсовая монета.

— Две марки по два пенса, уважаемая миссис, — чуть слышно прошептал он.

Женщина медленно прошла вдоль конторки. Получив марки, ребенок стремглав выбежал на улицу.

Через секунду у самой двери почты раздался насмешливый голос и хохот.

Женщина быстро наклонилась над стойкой. А потом бросилась на другую половину, предназначенную «только для белых».

Она посмотрела в огромное зарешеченное пыльное окно и увидела того нахального кафра, который упрямо отказывался называть ее «миссис». Для африканца, живущего в деревне, он был одет на редкость опрятно. На нем были голубые габардиновые брюки и клетчатая рубашка. Он медленно, подчеркнуто мед-

---

<sup>1</sup> М е ф ф р а у (африканс) — госпожа (обращение к молодой женщине); равнозначно английскому «мисс».

ленно прошагал мимо окон почты, завернул за угол к веранде и прошел возле двери с табличкой «Только для белых». Облизнув языком марки, он наклеил их на два конверта и опустил конверты в почтовый ящик. Потом сел на новенький, блестящий велосипед и, насвистывая, уехал.

— Этот кафр считает себя очень ловким. Знаешь, что он придумал? Подослал за марками того маленького черномазого. Как бы узнать, какие письма он бросил? О, я бы разорвала их на клочки!

— Не стоит связываться, Кэти, — сказала телефонистка, — можно нажить себе неприятности.

Минут через пятнадцать, проехав около двух миль, Джеймс слез с велосипеда, прислонил его к тенистому дереву и вошел во двор, окруженный глиняным забором. Он прошел напрямик к большому дому, но у двери остановился.

Его сестра хлопотала возле плиты. Она оглянулась, затем снова занялась своей работой.

— Что это у тебя такой счастливый вид? — небрежно спросила она.

Джеймс засмеялся:

— Похоже, что ожидается еще один праздник. Мы снова сыграли в гляделки с этой девушкой на почте. Хочет, чтобы я непременно назвал ее «миссис». «Скажи «миссис», парень», — передразнил он женщину.

— Будь осторожнее, Джимми. Ты, кажется, начинаешь терять чувство меры. Здесь ведь не Иоганнесбург. Пока ты все еще в том же Олифантсхуке, где родился и вырос, а здесь с белыми не шутят. Смотри, накличешь беду.

— А мне наплевать, где я, — запальчиво ответил Джеймс. — Все равно я никого не собираюсь называть «баас» или «миссис». Я не скажу этого слова даже хозяину, у которого буду работать.

— Не бери на себя слишком много, Джимми. Ты ведь еще совсем ребенок — семнадцать лет.

— Вот это да! Хотелось бы мне повторить твои слова о моем возрасте какому-нибудь полицейскому, попади я в беду. Ну, а эта девица... Она ведь даже моложе тебя. И потом, я не занимался на работу ни к ней, ни к ее отцу, ни к ее брату. Это она работает для меня, она ведь на службе, не так ли?

— Ладно, Джимми, не уминчай. Вот попадешь в Иоганнесбург, тогда дело другое. — Она обернулась и серьезно посмотрела на него.

Два дня спустя высокий плотный человек с густой седой копной волос вошел в почтовое отделение через дверь с табличкой «Только для несвронейцев». Наклонившись над полированной стойкой, он приблизил лицо к медной решетке и улыбнулся пожилой телефонистке:

— Доброе утро, миссис! — А когда появилась молодая начальница, он сказал ей: — Доброе утро, нонни!<sup>1</sup>

— Доброе утро, Иоганнес! — ответила, покровительственно улыбаясь, телефонистка. — Как твои дела на поле?

— Ох, дождей маловато, миссис! Будет неурожайный год!

— Хватит ныть, Иоганнес, — сказала телефонистка. — С каждым годом ты толстеешь и богатеешь, а все жалуешься на неурожай.

— Знаешь, что я тебе скажу, Иоганнес, — вмешалась в разговор молодая начальница. — Ты хороший кафр, и на тебя ни у кого нет жалоб. Но твой сын! Почему ты не научишь его, как нужно себя вести? Ведь все кончится большими неприятностями. С тех пор как ты послал его в школу, он стал невыносимо наглым.

Голова с густой шевелюрой покачалась из стороны в сторону:

— А что сделал мой сын? Он совсем не плохой парень.

— А если он не плохой, то должен называть меня «миссис». Я не собираюсь ему ничего продавать, пока он не поймет, как следует себя вести.

— Ох, нонни! — Здоровяк хихикнул. — Разве я могу его чему-нибудь научить? Я ведь темный, неграмотный старик. Я только и умею, что выращивать манс да кастрировать быков. А вот он — он получает образование! В школе его учат, как к кому обращаться. Кого называть «менеер»<sup>2</sup>, кого — «ффрау»<sup>3</sup>, кого — «мефффрау». Я никогда не ходил в школу и в таких тонкостях не разбираюсь. Вот вы для меня «нонни», а рядом с вами «миссис». Этому меня научили.

— Ну, значит, в школе их учат неправильно!

— Но ведь сын говорит, что им преподают ваш язык белые. Ведь это вы и несете нашему народу знания.

— Ну, знаешь, Иоганнес, у тебя в голове не все дома. Ты рассуждаешь, как настоящий коммунист. Зачем ты пришел?

<sup>1</sup> Н о н н и (африкаанс) — молодая госпожа.

<sup>2</sup> М е н е е р (африкаанс) — господин.

<sup>3</sup> Ф р а у (африкаанс) — госпожа (обращение к замужней женщине); равнозначно английскому «миссис».

...В субботу утром белые фермеры со всей округи собрались у большого магазина из рифленого железа, расположенного как раз напротив почты. Все они были ширококостные, громогласные, с багровыми от загара лицами, в одежде цвета хаки. Место это было, пожалуй, самым оживленным в Олифантсхуке. Фермеры стояли, небрежно облокотившись на свои джипы, джоджи, фёрды, и громко переговаривались в ожидании жен, несторонливых, сияющих улыбками, одетых в черные шелковые платья и нарядные соломенные шляпки.

Женщины торговались с хозяйками переполненного магазина, где можно было купить все, даже тракторы и грузовики, правда, лишь в разобранном виде.

Магазин, почта, полицейский участок за углом, железнодорожная ветка да бензозаправочная колонка — вот, пожалуй, и весь Олифантсхук.

По субботам, как повелось, фермеры делали покупки, а затем слонялись около почты в ожидании утреннего поезда из Мидделбурга. Через полчаса после ухода поезда они собирались на веранде почты и вскрывали свои зеленые почтовые ящики. В обычные дни эта работа доверялась наиболее смысловой прислуге, но по субботам это служило поводом для общения с другими фермерами.

Катрина, начальница почты, уже вооружилась штемпелем и приготовилась к приему корреспонденции. А пока она весело болтала и хихикала с тремя широкоплечими молодыми людьми, которые любезничали с ней через бронзовую решетку в большом помещении почты, предназначенном «только для белых». В такие дни африканцам на другой половине приходилось долго ждать, пока на них обратят внимание.

Джеймс медленно проехал на велосипеде между почтой и магазином, сделав два круга. Потом, с силой нажав на педаль, он крутанул колесо по пересохшей земле, подняв за собой столб пыли. Ему пришлось резко затормозить и выбросить ногу, чтобы остановить велосипед в нескольких сантиметрах от огромного, покрытого пылью колючего куста, росшего как раз возле входа на почту с табличкой «Только для неевропейцев».

— Что здесь нужно этому городскому кафру? — спросил один из фермеров у человека, прислонившегося к пикану.

— Так это же не городской кафр, это сын старика Иоганнеса. Ходит в школу, по-моему, в Иоганнесбурге или где-то еще. Одевается, словно белый. Похоже, что и воображает, будто он белый.

— В следующий раз, когда он поднимет пыльную, я пушу в ход свою плетку.

— Его отец хороший кафр. Зарабатывает много денег. В этом все дело.

Джеймс был в веселом расположении духа. Он прошел на почту, сдвинул на затылок свою матерчатую шапочку, кивнул двум босоногим мальчишкам, ожидавшим, когда белая женщина обратит на них свое внимание, и облокотился на прилавок, положив на него обе руки.

Наконец появилась Катрина. Хихикая, она подошла к открытому сейфу, стоявшему неподалеку от телефонного коммутатора, и вынула из него заказное письмо. Обернувшись, она увидела три черные физиономии, смотревшие на нее из-за медной решетки.

Улыбка мигом сошла с ее лица.

— Ну что тебе надо? — резко спросила она, глядя на Джеймса.

— Доброе утро, мисс! — весело ответил он. — Я хотел бы купить бланк для денежного перевода.

Начальница фыркнула и скрылась в глубине комнаты. Через минуту она вернулась и, не глядя на Джеймса, обслужила двух других мальчишек. Потом снова взглянула на него.

— Что ты сказал?

— Пожалуйста, бланк для денежного перевода, чтобы отправить двадцать шиллингов и шесть пенсов.

— Скажи «миссис»! — прошипела она.

Джеймс засмеялся.

— Это ты надо мной смеешься?

— Но почему все же я должен называть вас «миссис»? Вы ведь не замужем, правда? Я вот не вижу кольца у вас на руке.

Лицо женщины побагровело, глаза широко раскрылись:

— Ах ты проклятый, нахальный кафр! И кого ты только из себя корчишь? Оскорблять меня, белую женщину? Да кто ты такой?

— Послушайте, мисс! Не сердитесь...

— Это какой такой кафр оскорбляет тебя, Кэти? — раздался молодой басок с другой половины почты. — Кто хочет получить по зубам?

— Что же ты стоишь там, Герт? — закричала женщина. — Влепи ему как следует! Иди скорей, а то он убегает.

У Джеймса не было времени схватить свой велосипед. Когда



он выбежал на улицу, три дюжих парня, которые только что любезничали с начальницей почты, уже выскочили из двери с табличкой «Только для белых» и заворачивали за угол.

Джеймс обогнул большой куст, покрытый колючками, перепрыгнул через другой, поменьше, и пустился по пыльной дороге. Не разбирая пути, он мчался вперед мимо толпы фермеров, мимо магазина, вдоль улицы, на которой находился полицейский участок.

Катрина, встав в дверях почты, кричала белым парням:

— Держите этого псегодя! Ловите эту собаку. Всыпьте как следует проклятому кафру!

Фермеры, их жены и африканцы, толпившиеся возле магазина, обернулись, с удивлением глядя на истерически кричавшую женщину и на четырех бежавших людей.

— Что здесь происходит? — крикнул один из фермеров.

Трое белых парней, рассредоточившись, гнались за Джеймсом. На ногах у них были тяжелые армейские бутсы, но это не мешало им бежать быстро. Джеймс мчался изо всех сил. Дорога перед ним, покрытая толстым слоем пыли, была свободной. Вот только навстречу медленно ехал на велосипеде белый констебль.

— Хватай его, Джанни! — крикнул констеблю один из преследователей.

Молодой полицейский соскочил с велосипеда и бросил его на землю. Одним прыжком он оказался на середине дороги, встал, широко расставив ноги и раскинув в сторону руки. Джеймс бежал прямо на полицейского: поравнявшись с ним, он резко поднял правый кулак, как бы для удара. Руки полицейского взметнулись вверх, закрывая лицо. Джеймс резко свернул в сторону и промчался мимо.

— Растяпа ты, а не полицейский! — зло крикнул один из парней.

Полицейский побагровел от злости и стыда и резко обернулся, одной рукой открывая кобуру. К тому моменту, когда трое белых парней поравнялись с ним, он уже вытащил огромный черный пистолет и вместе с ними бросился догонять Джеймса.

— Стой! Эй, кафр, остановись! Стой, буду стрелять!

— Эй, дуралей! Да стреляй же ему в ногу!

Джеймс пригнулся к земле и резко метнулся вправо, к заросшей кустарником обочине дороги. Констебль на секунду остановился и выстрелил поперех головы Джеймса.

— Да что ты с ним церемонишься? Стреляй в этого проклятого негодяя!

Джеймс, услышав выстрел, чуть было не споткнулся. Он уже был рядом с кустарником. Обернувшись, он опустился на четвереньки и быстро проскочил между кустами. Вытирая тыльной стороной руки грязное, взмокнувшее от пота лицо, он услышал, как один из преследователей крикнул:

— Вон он, за тем кустом! Стреляй же, Джанни, стреляй!

Джеймс наугад рванулся к кусту впереди себя.

Молодой констебль тщательно прицелился. Он выстрелил раз, другой, третий, с каждым выстрелом отводя дуло пистолета чуть вправо.

Из кустов раздался душераздирающий крик.

высокими нотами, которые свойственны интонации цветных Кейптауна.

Куда больше, чем собственные рассказы, его интересовали всевозможные слухи и сплетни, в особенности если они касались нас — трех его молодых хозяев: мастера<sup>1</sup> Дэнди, мастера Хитча и мастера Йошвы — так, по крайней мере, звучали паши имена в его устах. Но все эти слухи обсуждались в будущем времени. К нашей реальной повседневной жизни он не проявлял интереса, ибо она, как мне кажется, была за пределами его понимания. Успехи или неудачи в школе, соревнования по регби, праздничные маскарады — до всего этого ему было мало дела, об этом он не говорил. Но зато о нашем будущем он мог говорить часами. С той же самой уверенностью, с какой он предрекал возвращение голубей, строил он планы нашей будущей карьеры. Мастеру Дэнди, например, предстоит заняться политикой, ибо всем ясно, как крепко он любит себя. Мастер Йошва будет ухаживать за девушками слишком усиленно, где уж тут думать о делах. Мастер Хитч, наоборот, преуспеет в делах и станет самым богатым человеком в Линдхерсте. Глаза Яна жмурились, а лицо блесло от ярких лучей солнца, он сидел на корточках, и сквозь дыру в штанах просвечивал кусочек на удивление нежной коричневой кожи, зубы ослепительно белели, нос морщился. Он улыбался нам с заднего крыльца дома.

— Да, да, мастер Йошва, вы будете ухаживать за девушками. Я уже и теперь вижу, как они вам нравятся.

Мы, бывало, спорили до хрипоты относительно его предсказаний.

Он знал несколько песен и, работая, частенько напевал. Иногда мы сами просили его спеть. Одна из песен была его собственным вариантом на популярную в то время мелодию: «Я сижу на самой вершине всего мира». Еще была одна очень красивая песня на африкаанс, слова которой, насколько я помню, были такими: «Есть на свете ровная долина, там собирают арбузы, красные, как кровь, и сладкие, как сахар. Они похожи на запретный плод».

Работал Яп, в общем, прилежно. Впрочем, дел у него было не слишком много. Он что-то делал в саду, но заниматься садоводством в Линдхерсте было почти безнадежной затеей. В нашем же саду росла лишь колючая трава «кикийю» да было несколько клумб с петуниями. Он стелил в доме кровати, натирал полы,

---

<sup>1</sup> Мастер — молодой господин (сын хозяина).

чистил ботинки, убирал ванную комнату. Пищу готовила Дора, его тетка. После полудня оба они уходили к себе и все жаркое время дня спали, почти до половины четвертого, когда мы возвращались из школы и шумно требовали сандвичей и молока.

Вообще-то отношения между нами и слугами были довольно безразличными, по крайней мере с нашей стороны. В большинстве случаев, если у нас находились занятия поинтереснее, мы их вовсе не замечали. И поэтому, когда я увидел однажды, как Ян возится с ящиком из-под масла, которые мы обычно использовали в качестве гнезд для новых пар голубей, я не обратил на это никакого внимания. Я помню, занимался он этим ящиком целый день, что-то прибавлял, напевая, но я так и не подошел к нему и не спросил, чем он так увлечен. Наверное, подумал я, мастерит что-нибудь для своей комнаты, куда мы избегали заходить. Там стояла дешевая мебель, железная кровать, к стене был приколот яркий цветной календарь, и вся она была пропитана запахом Яна или, как мы просто считали, запахом кафра.

В тот вечер, когда я возвратился после игры в крикет на поляне через дорогу от дома и в ушах у меня все еще звучали шум и крики ребят, а глаза слипались от усталости, потому что мы напрягали зрение, чтобы еще хоть раз попасть по мячу, неожиданно вырвавшемуся из темноты и несущемуся к бите, Ян ждал меня на крыльце позади дома.

— Послушайте, мастер Дэнди, вы должны обязательно пойти со мной, — сказал он и кивком поманил во двор.

— А в чем дело, Ян?

Но он вел себя загадочно и молча продолжал идти в глубь заднего двора. Я, теряя терпение, следовал за ним.

— Посмотрите, мастер, это я сделал для голубей.

Ян протянул мне ящик. В темноте я не мог ничего разглядеть, и нам пришлось вернуться к крыльцу. Там, при свете, проныкавшем через открытую дверь кухни, я увидел его сооружение. Мое нетерпение сменилось недоумением. Ящик стал непригодным для голубей. Несомненно, он много потрудился над ним: впереди была приделана небольшая приступка, затем следовал маленький отсек и вход в другой отсек, разделенный горизонтально на два этажа, нижний и верхний. Вторую половину ящика занимал один большой отсек с полочкой по стенкам. Все было выполнено отлично, но ящик стал совершенно бесполезным, потому что не было места для подрастающих птенцов, к тому же голуби вряд ли стали бы использовать все эти перегородо-

женные отсеки. Мне стало ясно, что Ян трудился напрасно, но говорить ему об этом мне не хотелось.

— Очень мило, Ян, — сказал я и еще раз осмотрел ящик.

Улыбка волшебника, гордого своим творением, была написана на лице Яна.

— Мастер Дэнди, наверно, и не знал, что я могу делать такие красивые вещи?

— Нет, не знал.

— Я показывал мастеру Йошве, он сказал, что я все очень ловко сделал.

И он с жаром стал объяснять мне устройство ящика, рукой показывая, как голуби могут пройти через дверцу и отдохнуть вот здесь. Рука его замирала, будто отдыхая. А если голубю захочется вылететь, то он сможет сделать это вот так. И рука его вылетала из ящика.

— Очень хорошо, Ян. Это прекрасный ящик.

Мне хотелось есть, и я поспешил в дом.

На следующий день была суббота, не надо было идти в школу. Рано утром я подошел к клетке с голубями, чтобы посмотреть, не вылупился ли птенец из яйца, на котором беспокойно сидела Ясноглазка. Я выпустил голубей на утреннюю прогулку, и они закружили над голубятней, плавно махая крыльями. Они летали низко, хотя день был ясный и небо было чистым. Все предвещало жару, и в воздухе чувствовались лишь слабые признаки суховея из глубины выжженной степи. Я уже давно собирался смастерить гнездо для двух голубей, из которых мы хотели сделать пару. Я направился в дровяной сарай посмотреть, нет ли там среди угля строительных материалов и разного хлама подходящего ящика, но ничего не нашел. Ящик Яна, тот самый, над которым он трудился, стоял на крыльце, где он мне показывал его накануне вечером. Мне не хотелось трогать его, хотя я и понимал, что это все равно была нелепая, никому не нужная вещь. Я выдрал перегородки, полки и все остальное, приделал крышку, как на всех ящиках, где были устроены гнезда, и отнес его в голубятню. После того как птицы вернулись и я загнал их на место, я посадил пару голубей в их новый, простой дом. Остаток дня прошел как и все другие субботние дни: мы бесцельно носились по улицам, играли на поляне за домом, где на камнях то и дело появлялись юркие ящерицы.

Вечером Ян спросил меня, куда делся ящик.

— Я отнес его в голубятню.

— Значит, он в голубятне? Пойду посмотрю.

Очень скоро он вернулся обратно.

— Я не нашел его, мастер Дэнди.

— Говорю тебе, он там. Я посадил в него голубей.

— Ах, тот, закрытый... Но это не мой ящик, мастер Дэнди.

— Твой. Только я вытащил из него все дощечки, которые ты туда насовал. Они непригодны для голубей.

Он так и остался стоять с открытым ртом. И в первый раз с начала нашего разговора я почувствовал, что допустил какую-то оплошность.

— Они непригодны для голубей, — повторил я.

— Как это... — начал было он, но вдруг резко повернулся и ушел.

Снова наступили сумерки, и снова мы были на заднем дворе. Ян направился в голубятню, и я услышал, как он вошел внутрь. Голуби захлопали крыльями, растревоженно закричали. Меня заинтересовало, что же он собирается там делать, и я бегом бросился в конец двора. Ян вышел из голубятни, держа в руках свой ящик.

— Что ты натворил? — набросился я на него. — Ведь я посадил туда пару.

— Что я натворил? — переспросил он. — А что вы натворили? — Он протянул мне ящик. — Взгляните только на мой ящик.

Он придвинул ящик поближе ко мне.

— Взгляните только на мой ящик, — повторил он и вдруг заплакал.

Первым моим чувством было удивление: никогда раньше я не видел, чтобы взрослые плакали. Я просто смотрел, как странно морщилось его лицо, нос собрался в складочки, как это бывало, когда он смеялся, а слезы медленно текли по щекам. Он стоял не двигаясь, лишь иногда всхлипывая. Он стоял и плакал, держа в руках свой ящик.

Мне ничего не оставалось делать, и я сказал:

— Извини меня.

Но это не помогло. И хотя я сожалел о случившемся, искренне сожалел, мое удивление было намного сильнее раскаяния. Я не мог понять, почему он горюет так сильно, меня поразило, что можно так расстроиться из-за какой-то никчемной поделки. Думаю, что мое отношение к этому случаю объясняется довольно просто: я не знал, что они способны на такие чувства. Они — это все те цветные и черные, которых я видел ежедневно, принимая как должное и их рабское положение, и их лохмотья, и все остальные особенности их существования. Мне они казались

странными, даже таинственными людьми. Одним я симпатизировал, других боялся, но они оставались за каким-то непреодолимым барьером даже в тех случаях, когда мы вместе играли или слушали их рассказы. Этот барьер возникал потому, что они просто не способны чувствовать. Правда, некоторые эмоции были им свойственны. Я сам видел, как они сердились, смеялись или покорно молчали, когда их ругали белые. Но все это были какие-то не настоящие эмоции, не такие, как, например, у меня. Это были переживания черных, резко отличавшиеся от моих. И вот теперь Ян переступил этот барьер. Он плакал так, как мог бы плакать и я. Между нами не было никакой разницы. Передо мной был живой человек, и он плакал.

— Не плачь, Ян, ты сделаешь другой ящик, — утешал я его.

Но я не мог дотронуться до него, не мог обнять его. Он по-прежнему оставался черным.

— Ну, Ян, ты сделаешь другой ящик! — крикнул я громче, понимая, что, не обняв его, я вновь совершил предательство.

Он пошел прочь от меня, унося с собой ящик. Я пошел за ним следом, звал его, но он не откликался. Он вошел в свою комнату и захлопнул дверь. Я постучал, но он не ответил. Я перестал стучать и отправился домой.

Конечно, вскоре мы с Яном снова восстановили дружбу, но мое отношение к нему изменилось, стало другим. Мы оба что-то потеряли, а возможно, и приобрели. Мне кажется, что у него в душе затаились остатки обиды и гнева. Я же впервые стал ощущать смущение и неуверенность по отношению к нему, поняв, что я многого не знаю о нем и других черных, что есть обширная сфера чувств, которая прежде была от меня очень далека, а теперь оказалась прямо передо мной.

Однако вскоре Ян оставил работу у нас и пошел в армию. Началась война, он вступил в Кейптаунский туземный корпус, и его отправили из Линдхерста. Однажды он все же заглянул к нам. Как же он возмужал! Ему шла военная форма, и он очень гордился ею. Совершенно случайно мой старший брат, который тоже служил в армии, приехал в это время в отпуск домой. Ян был этим очень обрадован.

— Вот мы теперь оба служим у одного хозяина, — сказал он, и все мы весело засмеялись.

Ян к тому же выглядел постаревшим.

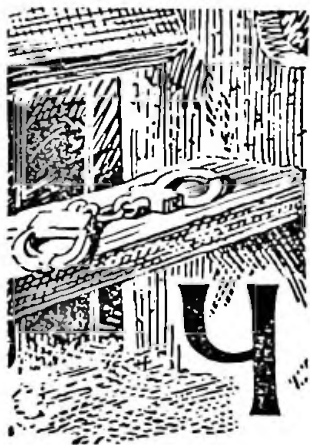
В общем-то, на нашу долю не выпали те передкие печальные

и неприятные переживания, которые возникают, когда бывший слуга часто навещает своих хозяев, а дети растут, пропасть между ними и слугой все ширится и приходится притворно улыбаться или предаваться воспоминаниям, которые никому не доставляют удовольствия.

Какими бы бездумными и жестокими ни были поступки в детстве, они по крайней мере свободны от чувства неловкости, вызываемого различием в цвете кожи. А оно, это чувство, становится не просто завесой, сквозь которую рассматриваются поступки людей, а путами па всем теле, без которых человеку кажется, что он обнажен и пристыжен.

Но как я уже сказал, на нашу долю эти переживания не выпали, потому что Ян был убит под Эль-Адемом, недалеко от Тобрука, в сражении против немцев в Западной пустыне. Мы узнали об этом от Доры. Она по-прежнему заходит к нам, хотя уже давно у нас не работает. Она почти совсем ослепла от катаракты, закрывшей ей глаза, и мы освобождаемся от чувства жалости и вины, откупаясь при каждом ее посещении то пятью шиллингами, то старым одеялом, то кофточкой моей сестры, то фунтом сахару.

## СКАМЕЙКА



Чарли жадно вслушивался, стараясь вникнуть в слова оратора. Не все было ему понятно, но что-то в глубине сознания подсказывало: это великие слова, в них таится правда.

— Мы — составная часть неразрывного целого... Часть общества, в котором меньшинство обрекает человека на положение раба только потому, что он имел несчастье родиться с черной кожей. Это общество удерживается на своем шатком фундаменте лишь за счет эксплуатации многочисленного черного пролетариата.

Оратор на минуту умолк и отпил из стакана. Жаркое октябрьское солнце нещадно жгло собравшихся людей. В раскаленном небе над Столовой горой ни облачка. Деревья на площади Гранд Парад давали мало тени. Носовой платок Чарли насквозь промок от пота, едва он сунул его за ворот рубашки. Чарли оглянулся. Море лиц окружало его — черные, коричневые, несколько белых. Кое-где пятнами выделялись красные фески малайцев. Возле автомобиля два сыщика торопливо стенографировали речи. Оратор на помосте продолжал:

— Мы должны требовать отмены всех законов, которые низводят человека до положения низшего существа. Мы оспариваем право тех, кто проводит такое разделение, основываясь

лишь на цвете кожи. У ваших детей отнимают права, которые принадлежат каждому от рождения. Их лишают равенства в общественной жизни, в экономике, в образовании.

Чарли чувствовал, как что-то в нем всколыхнулось. Проснулись мысли, которые он раньше заглушал в себе. Человек на помосте проповедовал новую религию. Эта религия утверждала, что у Чарли есть какие-то права, эти права должны быть и у его детей. Какие же? Право жить, как белый человек? Жить, как старик Латегап? Новые мысли взрывались в голове Чарли, подобно бомбе. В нем просыпались ранее неведомые чувства. Вот он сидит в ресторане наравне с белыми... Вот Нелли и он идут в кинотеатр, им подают чай, а у дверей стоят билетеры в ливреях... Его дети приходят в школу в фуражках с околышком, их встречают учителя в мантиях.

Этот новый мир и пугал и притягивал Чарли. А что сказал бы обо всем этом Оу Клаас? Оу Клаас, который всегда говорит, что бог создал белых и черных по отдельности, что белый человек — это баас, господин, а черные — слуги. Но новые речи привлекали Чарли сильнее, чем поучения дяди.

Он напряженно думал, хмурия брови. На помосте толпились ораторы. Белые сменяли черных, черные — белых. И все они вели себя непринужденно. Словно не разного цвета была у них кожа. Вот белая женщина в голубом платье предложила сигарету Нксели, который из профсоюза. Чарли тоже захотелось курить, он вытащил из кармана смятую пачку дешевых сигарет. Там, дома, старик Латегап пришел бы в ярость, если бы Нксели вдруг осмелился угостить его дочь сигаретой. Потом Чарли на мгновение представил себе, как дядя Оу Клаас предлагает закурить Аннёте Латегап. Это было настолько нелепо, что Чарли даже рассмеялся. Несколько человек из толпы удивленно оглянулись на него. Чарли смутился, закурил; право же, в голове у него не умещается подобная картина... Да у Аннеты и нет такого красивого платья, как у женщины на помосте. На белой леди голубое узкое платье с длинными рукавами и белыми манжетами.

Если все, что говорил оратор, справедливо, то выходит, что Чарли такой же человек, как и все другие. Он хотел было сказать себе, «как и белые», но спохватился. Однако новый оратор тоже говорит об этом. А почему бы и не согласиться с ним? Чарли вспомнил, что однажды в газете он видел фотографии людей, которые не подчинились законам, ибо считали их несправедливыми. Он сказал тогда об этом Оу Клаасу, тот пожал

плечами. Люди на фотографии улыбались, когда их вели в тюрьму. Это казалось странным, сбивало с толку.

Чарли продолжал внимательно слушать. Оратор говорил убедительно, заботливо подбирая слова.

«О, это великий человек! — подумал Чарли. — Он умнее, чем старик Латеган или даже священник Домини, а ведь Домини — белый!»

Теперь говорила леди в голубом. Белая леди в голубом платье с красивыми белыми манжетами. Она сказала, что не надо выполнять законы, в которых утверждается, что один человек ниже другого.

— Садитесь на любое место в поезде! — воскликнула она. — Идите в любой ресторан.

Белые полицейские сыщики торопливо делали заметки в своих блокнотах. Но она-то почему так говорит? Ведь она белая! Она может ходить в лучшие кинотеатры, отдыхать на самых дорогих пляжах, жить в прекрасном доме. Она куда красивее Аннеты Латеган, ее волосы так и переливаются на солнце... Чарли предостерегали еще до отъезда из Бьестесвлеса, что в Кейптауне порядки другие. И действительно, в Шестом районе<sup>1</sup> он видел головорезов из среды цветных.

Он знал таких и дома и понимал, чего от них можно ждать. Не удивила его и Ганнвер-стрит, и вообще все было не так уж страшно, как ему предсказывали.

Но никто, даже Оу Клаас, не предупредил его о том, что он увидит и услышит здесь, у помоста. Это было нечто новое, заставлявшее человека думать. Леди сказала, что надо просто не подчиняться законам... Страшное решение начало созревать в голове Чарли. Настолько страшное, что вначале он отбросил его и даже мысленно высмеял себя. Но оратор продолжал говорить, и Чарли все больше и больше утверждался в своем решении. Да, он откажется выполнять законы. Он, Чарли, не будет замечать их. Вот уж удивятся и старик Латеган, и Оу Клаас, и Аннета, и Нелли! С горячностью новообращенного он решил, что будет поступать так, даже если это приведет его в тюрьму. Он будет улыбаться, как те люди на фотографии в газете!

Митинг заканчивался, и Чарли стал пробираться сквозь толпу. Слова ораторов не выходили у него из головы. Это были страшные, непривычные слова, но он уже почувствовал их глубокий смысл. Да, в Бьестесвлее такого не бывало. Но может быть, это возможно и там?..

<sup>1</sup> Район трущоб в Кейптауне, гетто для цветного населения.

Внезапно раздался резкий скрип тормозов. Чарли вдрогнул и отскочил в сторону. В окошко машины высунулось злобное лицо белого человека.

— Что ты, ослеп?! Не видишь, куда прешь, скотина!

Чарли испуганно уставился на белого, слишком ошеломленный, чтобы отвечать. Конечно, этот человек не видел, как белая леди предлагала сигарету Нкссели. Белая леди никогда бы не накричала на Чарли так грубо. Все это озадачивало. Лучше уж сесть в поезд и там обо всем хорошенько подумать.

Чарли со смешанным чувством разглядывал железнодорожную станцию. Масса народу. Белые, попадают и черные, несколько коричневых, как и он сам. Здесь все толпились впере-мешку, но настороженно оглядывали друг друга: одни смотрели со страхом, другие с презрением. У каждого была своя собственная, только ему предназначенная дорога. «Этому порядку нужно бросить вызов! — говорил оратор. — И каждый пусть делает это по-своему». Но как «по-своему»? Как бросить вызов закону?

Взгляд Чарли упал на скамью, и он понял: вот подходящий случай. Скамья. Обыкновенная вокзальная скамья, на которой четкими белыми буквами выведено: «Только для европейцев».

В мгновение ока эта скамья стала для Чарли символом всех несчастий многострадального народа Южной Африки. Да, эта скамья отнимает у него все человеческие права. Вот она стоит перед ним, обыкновенная вокзальная деревянная скамья, как сотни тысяч других по всей Южной Африке. Но это его скамья, его орудие протеста!

Сейчас для Чарли в этой скамье сконцентрировалось все зло того порядка, которого он до сих пор не понимал. Скамья — это барьер между ним и остальным человечеством. Если он сядет на нее — он человек! Если побоятся — сам откажет себе в праве быть человеком. Чарли представилось, что стоит ему только сесть на скамью, и наступит конец всему этому пагубному порядку.

Да, это удобный случай, и Чарли не упустит его. Он бросит вызов!

Опускаясь на скамейку, он казался совершенно спокойным, но сердце его бешено колотилось. Два противоречивых чувства владели им, столкновение их было неизбежным. Одно твердило: «Ты не имеешь права сидеть на этой скамейке». Другое возмущалось: «А почему ты не имеешь на это права?» Первый голос шел из прошлого, от жизни на ферме, от рабелепных фигур отца и деда, рожденных быть мулами, живших как мулы и умерших

как мулы. Второй голос был голосом надежды и шел из будущего. Он говорил: «Чарли, ты человек. Ты отважился сделать то, на что никогда не решился бы твой отец. И если тебе суждено умереть, ты умрешь человеком!»

Чарли достал сигарету и закурил. Казалось, никто не замечал, что он сидит на этой скамье. Напряжение его прошло. В мире ничего не изменилось. Люди жили, дышали, умирали. Никто не кричал: «Чарли, ты победил!» Просто он — обыкновенный человек — сидит на вокзальной скамье и курит сигарету. А может быть, именно в том, что он ведет себя, как обычный человек, и заключается его победа?

Нарядно одетая белая женщина шла вдоль платформы. Сядет ли она на эту скамейку? И опять этот предательский голос: «Встань, чтобы этой белой женщине не пришлось сесть рядом с тобой». Глаза Чарли сузились, он еще сильнее затянулся сигаретой. Женщина прошла мимо, даже не взглянув на него. Она признала за Чарли право быть человеком?! А может, ей просто наплевать на него?

Только сейчас Чарли понял, как он устал. Теперь подкрадывалась третья мысль, примиряющая: «Ты здесь не потому, что решился бросить вызов. Ты просто устал. Вот почему ты сидишь здесь». Но где же все-таки истина? Вызов это или усталость?

К платформе подошел поезд. Из вагонов повалили пассажиры. Станция вмиг заполнилась людьми, спешащими, толкающими друг друга, но Чарли по-прежнему никто не замечал. Это был его поезд. На нем он мог бы уехать домой. Самым простым на свете было войти сейчас в вагон и уехать от всего на свете: от этих протестов, от скамеек, на которых нельзя сидеть, от митингов под палящим солнцем. Но это значило бы сдаться, признать свое поражение, отказаться от чувства, что ты настоящий человек.

И Чарли остался. Лениво потягивая сигарету, он размышляет. Мысли уносят его далеко от митинга и от этой скамейки. В памяти всплывает поселок Бьестесвлей и старик Оу Клаас. Чарли делится с Оу Клаасом своей мечтой: поехать бы в Кейптаун, сверкающий вечерними огнями, познакомиться с красивыми коричневыми девушками! Оу Клаас посасывает трубку и лукаво улыбается. Он мудрый старик, он много знает, он ведь говорил, что надо поехать в Кейптаун поглядеть на других. Когда он говорит о Кейптауне, он всегда многозначительно сплевывает и лукаво улыбается, вспоминая о девушках из Шестого района,



коричневых, оливково-коричневых, о малайских девушках. Старый Оу Клаас все знает. Он говорит: «Бог создал белых и черных по отдельности, и поэтому каждый должен знать свое место...»

— А ну проваливай отсюда!

Чарли не слышал.

...Оу Клаас, наверно, сидит сейчас у себя дома в ожидании стаканчика дешевого вина...

— Ты слышишь, что я сказал? Убирайся с этой скамейки, свинья!

Чарли возвратился к действительности. Повинуясь инстинкту, он уже готов был подняться, но вдруг его будто окатило холодной водой. Он вспомнил, кто он и зачем он здесь.

Страшная усталость разлилась по всему его телу. Медленно поднял он глаза на злобное, налитое кровью лицо над ним.

— Встань! — хлестнула его команда.

Чарли молчал. Острые, холодные серые глаза глядели на него в упор.

— Ты что, оглох, черная образина?!

Подчеркнуто медленно Чарли выпустил изо рта сигаретный дым и с минуту изучал противника. Вот оно, его испытание. Они смотрели друг на друга, словно два боксера, примеривающиеся один к другому, перед тем как начать схватку.

— Ну погоди же, сейчас я позову полицейского!

Чарли все так же упорно молчал. Заговорить — значит лишиться преимущества перед белым противником. Но как трудно молчать!

— Ладно, ты дождешься, негодяй! Я сейчас приведу полицейского! Он не желает даже раскрыть свою пасть, когда с ним разговаривает белый!

Чарли сразу заметил слабое место противника. Тот боялся действовать в одиночку. Он, Чарли, выиграл первый раунд в битве за скамейку. Но возле нее собиралась толпа.

— Африка! — громко сказал какой-то шутник и многозначительно поднял вверх указательный палец.

Чарли пропустил это мимо ушей. Толпа росла. Люди пялили глаза на это необычное зрелище: на черного, сидевшего на скамейке для белых! Чарли спокойно курил.

— Вы только посмотрите на эту черную обезьяну! Вот что получается, когда им дают свободу!

— Ничего не могу понять. Ведь у них есть свои скамейки.

— Получит сполна, когда придет полицейский.

— Да благословит тебя господь, человек! Не вставай. У тебя столько же прав сидеть здесь, сколько у любого!

— Не понимаю, почему они не могут сидеть там, где им правится?

— Этим дикарям нельзя доверять. У меня был слуга, черномазый, так тот еще не такое вытворял...

Чарли сидел и ничего не слышал. Он уже твердо решил: нет, он ни за что не встанет. Пусть с ним делают что хотят!

— Вот этот самый? А ну-ка поднимайся! Читать умеешь?

Над Чарли возвышался грузный полицейский. Чарли видел медные пуговицы на мундире, тонкие морщины на красной шее.

— Фамилия? Адрес? Давай, давай поторапливайся.

Чарли продолжал молчать. Полицейский опешил.

Толпа росла с каждой минутой.

— Вы не имеете права так разговаривать с этим человеком.

Это была леди в голубом платье.

— Не вмешивайтесь в чужие дела! Я попрошу у вас помощи, когда она мне понадобится. Из-за таких заступников, как вы, эти кафры и пристают к белым женщинам... Вставай, ты!

— Я требую, чтобы вы относились к нему с должным уважением!

Полицейский побагровел:

— Это... Да вы...

Он не находил слов.

— Да впечатайте этому черномазому покрепче, раз он не хочет подниматься! — заорал кто-то, грубо хватая Чарли. — Вставай, ты, черный ублюдок!

Чарли крепко ухватился за скамейку, за свою скамейку. Теперь уже многие тащили его. Он стал яростно отбиваться и вдруг почувствовал тупую боль. Кто-то ударил его. По лицу потекла кровь. Он продолжал бороться, не вставая со скамейки. Полицейский защелкнул наручники на запястьях Чарли и попытался поднять его на ноги. Чарли упирался. На него обрушилось еще несколько ударов. Наконец он расслабил мышцы и медленно встал. Продолжать борьбу было бесполезно. Теперь надо улыбнуться. Он бросил вызов и победил. А что будет дальше — неважно.

— А ну пошевеливайся, свинья! — крикнул полицейский, проталкивая Чарли сквозь толпу.

— Ладно! — наконец проговорил Чарли и гордо поглядел на полицейского, как и пристало глядеть ему, осмелившемуся сесть на скамью «только для европейцев».

# ДЕВОЧКА В КРАСНОМ ПЛАТКЕ



осподи, как тут тошно! — вздохнула тетушка Марта Преториус, отрывая взгляд от красного платка, который она подрубала. — Почему мы должны были поселиться здесь, на окраине, где нет даже порядочных африканеров?<sup>1</sup>

Старый Андриас молча посмотрел на жену поверх большой семейной Библии, лежавшей перед ним на столе. На лице его нельзя было прочесть ровно никаких мыслей, однако же старик напряженно думал. А думал он примерно следующее: ее тон не предвещает ничего хорошего, опять она заставит меня что-нибудь предпринять...

Он сделал вид, будто углублен в чтение, стараясь в то же время угадать, что последует дальше. Жалобы на боли в боку? На безбожие соседей? На шум, поднимаемый кафрами за окном на улице?

Но Марта хранила молчание, видимо собираясь с мыслями, и Андриас воспользовался предоставившейся ему возможностью повернуть разговор в желанное русло: он просто начал читать вслух из Библии с того места, на котором остановился:

<sup>1</sup> Африкáнер — так называют европейцев (в основном голландского происхождения) в Южно-Африканской Республике.

— «Каждое слово бога чисто... Он — щит для тех, кто верит...»

Но прежде чем он так глубоко погрузился в пучину божественных слов, что прервать его было бы кощунством, Марта произнесла:

— У порядочных европейцев всегда есть слуги-кафры. Надо мной будут смеяться, если узнают, что я натираю полы сама.

— А где мы возьмем деньги, чтобы платить им жалованье? — спросил старый Преториус, несколько ошеломленный непредвиденным оборотом дела. — И зачем они нам нужны?

В самом деле, что это нашло на старуху, какая странная прихоть? Он перевернул страницу, прокашлялся, ловко сплюнул через окно и вновь принялся за чтение.

Марта больше не прерывала его, но и без слов было видно, что она не отступится от задуманного и поставит на своем.

— Интересно, кого мы встретим: мальчика или девочку? — размышляла вслух Марта, когда они катили на запад через Рудепорт.

Старый Преториус сидел за баранкой древнего «фордика» прямо и неподвижно и, казалось, был занят одной мыслью: как бы не превысить скорость, с какой добрая лошадь обычно везет свою тележку.

— Как мы назовем его или ее? — продолжала разговор его жена, но Андриас редко поддерживал беседу, когда вел машину, тем более что сейчас они уже съехали с шоссе на неровную песчаную дорогу и ему нужно было еще крепче держать вырывающийся из рук руль.

— Сарэль, по моему отцу, или Сára, если будет девочка, — внезапно решила Марта.

Когда автомобиль приблизился к воротам, преграждавшим дорогу, которая вела в глубь засушливой местности, носящей название Земли Принцессы, из стоявшей невдалеке лачуги выбежали три темнокожих мальчугана. Они очень ловко открыли громоздкие ворота, после чего вскарабкались на подножку автомашины в ожидании нескольких пенни за свой труд, что было для них редким, но необходимым подспорьем. Но старый Преториус не обратил на детей никакого внимания, пока не выехал за ворота, а затем грубо столкнул их с подножки и прибавил газ.

— Как будто я не имею права бесплатно ездить по этим холмам, — ворчал он, поглядывая на африканцев, которые, отрываясь от работы на своих полях, провожали взглядом его машину. — Эти кафры живут тут друг у друга на голове...

— Уж очень они худые, вот-вот помрут с голоду, — заметила его жена. — Будем надеяться, что не все такие.

Прошел еще добрый час, прежде чем пожилая чета, порядком уставшая и раздраженная, встретила наконец «Сару». Они как раз переезжали через мост над узким ручьем, когда Марта заметила ее: девочка сидела на корточках у берега. Ей было лет одиннадцать.

Опа подняла глаза, когда автомобиль остановился, и с интересом посмотрела на пожилых белых людей. А когда Марта вышла из машины и с трудом начала спускаться к ручью, девочка вскочила и спряталась в зарослях тростника. Преториус помахал ей рукой, и она с улыбкой сделала то же самое. Спустившись к ручью, Марта остановилась возле опор моста и позвала девочку, подняв руку с ярко-красным платком так, чтобы та могла видеть его.

Девочка уже знала, что белым людям нужно подчиняться, и подошла медленно и робко.

Ничего не подозревая, она взяла из рук Марты протянутый ей красный платок и с радостным смехом повязала его на голову. Старый Преториус поманил ее к себе, он держал руку так, словно в кулаке был спрятан еще какой-то подарок. Темнокожая девочка подбежала к машине и, когда старик указал пальцем на заднее сиденье, вскочила на подножку и заглянула внутрь.

Подоспевшая в это время Марта открыла заднюю дверцу и втокнула девочку в машину. Старый Преториус завел мотор, и они продолжали путь теперь уже троим...

Сара сидела у дверей кухни, все ее тело безмолвно сотрясилось от рыданий, слезы безостановочно бежали по щекам.

— Хорошо, хоть рева не слышно, — с удовлетворением отметила Марта. — Опа боится нас, — сказала она мужу, не зная, куда спрятать глаза от пристального взгляда девочки. — Посмотри, она здоровая и даже упитанная! — Слова Марты прозвучали так, будто это было делом их рук.

Она поставила на стол чашку молока, положила кусок хлеба.

— Ешь! — сказала она.

Давясь, девочка принялась за еду и вскоре перестала вздрагивать. Ей приготовили постель в чулане. Марта указала ей на край и кядку для воды, дала кусок мыла.

— Умывайся и ложись! — приказала она и вернулась на кухню.

Попозже она зашла в чулан. Сара лежала неподвижно, с широко открытыми глазами.

— Нужно спать, — сказала Марта мягким голосом, но девочку почему-то это не утешило. — Завтра, как рассветет, помоешь кухню и натрешь пол на веранде.

Первое, что Сара узнала от Марты о боге, было то, что он требует, чтобы люди были хорошими, хорошими и скромными, покорными и трудолюбивыми; он запрещает людям быть алчными, они должны ежедневно возносить ему молитвы. С помощью узловатой руки Преториуса она узнала, что такое отмищение, воздаваемое господом богом тем людям, которые плохо выполняют его заповеди.

Постепенно девочка свыкалась с новой обстановкой — с суровыми хозяевами и тяжелой работой.

Порою, когда ей уже нечего было делать по дому, она садилась на табурет в саду под деревьями и смотрела, как в соседнем саду играют дети. Ей нравилось спокойно сидеть, глядя на них, и слушать, о чем они говорят. Их было трое, на год-два моложе ее. Они играли в странные, непонятные ей игры, так что первое время ее даже не тянуло к ним. Но однажды Делли, которая, судя по всему, была у них вожакom, подошла вплотную к забору, чтобы сорвать яблоко с дикой яблони в саду Преториусов. Увидев Сару, она позвала остальных ребят. Те подошли к забору; их карманы были набиты мелкими яблоками.

— Эй! — крикнула Делли. — Можно сорвать несколько яблок?

— Разве ты не понимаешь, что эти яблоки нельзя рвать? — ответила Сара. — Они принадлежат мистеру Преториусу. Это же воровство.

Дети сразу отдернули руки от забора и с опаской огляделись: уж не видно ли поблизости старика Преториуса?

— А ты ему скажешь? — спросила Делли.

— Если вы больше не будете, не скажу.

Наступило молчание.

— Как тебя зовут? — спросила потом Делли.

— Сара. А вас?

— Меня Делли. Вот это Джэсси. Ее отец вагоновожатый. А Элфи живет в лавке на углу.

Они еще некоторое время изучали друг друга через забор, затем Делли крикнула:

— Ну, пока!

И все трое побежали и скрылись за домом.

Их отсутствие не было длительным: уже через несколько минут они появились снова со скакалками в руках и принялись прыгать. Облокотившись о забор, Сара наблюдала за ними.

— Иди к нам! — крикнул Элфи.

И вскоре прохожие посматривали с удивлением и неудовольствием на то, как трое белых детей и темнокожая девочка играют вместе: прыгают, кричат и смеются.

На следующий день, улучив свободную минуту, Сара с волнением выбежала в сад к своим новым друзьям. Она увидела, что ребята играют на старом месте, и была уверена, что те заметили ее, хотя и не показали вида. Но они не приглашали ее.

Сара уселась на свой табурет под деревьями, озадаченная и уязвленная, стараясь не смотреть в их сторону. Затем она подумала, что, наверное, они все-таки не видят ее, и попыталась привлечь их внимание: она громко кашлянула, но это не имело успеха, тогда она принялась напевать песню своего детства, не настолько громко, чтобы это казалось вызывающим; но и не так тихо, чтобы ее нельзя было услышать по ту сторону забора.

Но ребята не замечали ее.

Глаза Сары наполнились слезами, руки судорожно мяти красный платок, тот самый, который ей подарила старуха Преториус, затем она бросилась в свою каморку, уткнулась в подушку... Вдруг ее осенило: как глупо она себя вела! Ведь здесь среди ребят, наверное, не принято приглашать. Просто каждый подходит и принимает участие в игре. Разве Джесси или Элфи ждут приглашения? Они приходят к Делли, когда хотят.

Сара вскочила, побежала снова в сад, прямо к забору.

— Эй, Делли, Элфи, Джесси! — позвала она.

Трое ребят многозначительно переглянулись, но не прекратили игры.

Стыд и боль наполнили все ее существо.

— Почему вы не принимаете меня?

Ребята остановились, но не двинулись к ней ни на шаг.

Сара не могла сдерживать слез обиды и резко отвернулась, чтобы их не было видно, но все ее тело тряслось от рыданий, когда она опять шла к дому.

Она различала голос Элфи, звавшего ее обратно, но сделала вид, что не слышит. Она заставила себя не поворачиваться, не показывать залитого слезами лица, но больше всего на свете хотелось ей сейчас вернуться к ним, играть вместе.



Вот к зову Элфи присоединились голоса Делли и Джесси, сливаясь в общий хор:

— Сара, Сара, не плачь, Сара!

Они кричали так долго, что, наверное, уже начали забывать первоначальный смысл, который вкладывался в эти слова, но Сара внезапно почувствовала, как ее печаль сменяется ощущением чего-то прекрасного — большого, настоящего счастья. Она вытерла глаза, подошла к ним и со смехом присоединилась к их дружным воплям: «Сара, Сара, не плачь, Сара!», зазвучавшим совсем как стишок и перешедшим в радостный визг.

Вдруг белые дети что-то вспомнили и замерли с испуганными лицами. Делли с видом заговорщика осмотрелась кругом.

— Нам не разрешают играть с тобой, — прошептала она. — Беги к нам, на задний двор, там встретимся.

Сара побежала через дом своих хозяев к задней калитке, выскочила в переулок. Подождав немного, она нетерпеливо и настойчиво постучала в калитку к Делли, приходя в ужас от одной мысли, что ей могут не открыть.

Но Делли сама отперла ей калитку и драматическим, полным настороженности жестом пригласила войти.

— Нам не позволяют с тобой играть, — сказала она еще раз, торжественно и значительно.

— Но мы не слушаем их, — вмешался Элфи.

— Почему? Что я такого сделала? — спросила Сара, недоумевая, но чувствуя, что с ее души все равно уже свалилась тяжесть: ведь она опять была вместе со своими новыми друзьями.

— Отец говорит, что с тобой нельзя играть, потому что твои родители — кафры, — сказала Джесси нерешительно. Затем боязливо, но с чувством гордости добавила: — Мне здорово нагорит, если узнают...

— Не понимаю, почему они так против... — сказала Делли. Дети посидели молча, раздумывая над этой новой выдвинутой жизнью проблемой.

— Это из-за твоего брата, — сказала наконец Джесси.

Мысли Сары обратились в казавшееся ей теперь таким далеким и туманным прошлое. Конечно, у нее был брат, и не один, но откуда отец Джесси узнал о них?

— Мама сказала, — продолжала Джесси, — что если ты хорошая, аккуратная девочка, то я могу играть с тобой, но папа спросил ее, что бы она сказала, если бы ты привела своего хорошего, аккуратного брата и он захотел бы поцеловать меня...

И еще он сказал, что, если мы будем играть с тобой вместе, это не пойдет на пользу их... как ее... партии лейбористов.

Все трое посмотрели на Сару: что она скажет на это? А в душе девочки помимо ее воли поднималось горделивое чувство: как много внимания уделяют ей эти взрослые!

— Мой отец сказал, что, если я буду играть с кафрами, я должен рассказать об этом священнику, потому что это грех, — сообщил Элфи.

Делли сказала:

— Мама говорит, что не надо произносить «кафр»: это некрасиво. Нужно говорить «туземец».

Вдруг Делли вскочила.

— Пусть они говорят что хотят, — воскликнула она, — а мы давайте поклянемся нашей кровью быть друзьями и помогать друг другу до самой смерти! Ладно?

Она убежала в дом и вернулась оттуда с иголкой в руке.

— Мы должны поклясться всегда оставаться друзьями и помогать друг другу, когда бы нас ни попросили, — сказала она, едва переводя дух. — Сейчас мы смешаем нашу кровь и поклянемся, что скорее умрем, чем нарушим клятву!

Все они были глубоко захвачены происходящим и тем, что должны будут совершить в будущем. Медленно повторяли они вслед за Делли слова клятвы.

— Теперь надо смешать кровь, — сказала неустойчивая Делли. — Давайте пальцы.

Сара тоже протянула руку, и Делли приготовилась начать с нее, но в последнюю минуту испугалась и отдала ей иголку. Сара уколола большой палец, и на нем заблестела кровь.

— Теперь ты, — сказала Делли, обращаясь к Элфи.

— Нет, ты, — сказал он.

Наступила пауза.

— Для клятвы достаточно крови одного человека, — авторитетно заявила Делли.

Притронувшись пальцами к капле крови на руке Сары, они скрепили клятву. Затем Делли заставила Сару снять с головы красный платок, подарок Марты Преторнус, и все подержались за его концы.

— Как будто на этом платке наша кровь, — сказала Делли, и все согласились с ней.

Люди вскоре привыкли к тому, что четверо детей проводят время вместе, и перестали на это обращать внимание. Правда, Джесси всякий раз с большими предосторожностями проникала

на задний двор к Делли. Но она вполне могла бы и не бояться, потому что ее отец давно махнул рукой на свои запреты и, даже сам того не замечая, порою ворчливо говорил: «Неужели ты не можешь быть поаккуратней? Посмотри на Сару...» Или: «Если бы ты так слушала своих родителей, как Сара — миссис Преториус!»

...Шли месяцы, и жизнь Сары текла без изменений: работа в доме и в саду, а в свободное время — игры на заднем дворе с друзьями. Здесь ей открылся целый мир. Вспомнить только, сколько было волнений, когда у Мэйти появились щенки! А бесконечная игра в прятки! Сколько радости доставляла она, хотя каждый из них мог найти с закрытыми глазами все потайные места! Но самыми лучшими были те часы, когда они сидели тесным кружком, обсуждая различные животрепещущие вопросы — самые-самые разные, и тогда так явственно ощущалось радостное чувство дружбы и доверия...

Сара не могла бы точно указать, когда именно их дружба дала трещину. Возможно, в этом была повинна школа — ведь и Делли, и Джесси, и Элфи давно учились. Часто они разговаривали о школьных делах, и если сначала Сара перебивала их и пыталась перевести разговор на доступные ей темы, то впоследствии она все чаще и чаще полностью выключалась из беседы и сидела печальная и молчаливая, понимая, что это чужой для нее мир.

Однажды Элфи затеял спор о том, могут ли люди научиться разговаривать с животными. Сара полностью отвергала эту гипотезу, и тогда мальчик принес книгу о докторе Дюллитле<sup>1</sup> и указал ей место, письменно подтверждавшее его правоту. Сара мельком взглянула на указанную страницу, но Элфи сказал, ткнув туда пальцем:

— Вот, читай сама.

Он продолжал настаивать, и тогда Сара вскочила и убежала домой.

— Послушайте, — сказал Элфи, оправившись от удивления, вызванного этим внезапным бегством. — А ведь она совсем не умеет читать. Я и не знал...

Мистер Преториус закончил чтение вслух Библии, и Сара поставила кофе на стол.

— Пожалуйста, баас, — сказала она. — Может баас научить меня тоже читать эту книгу?

---

<sup>1</sup> Книга английского детского писателя Лобттинга.

Миссис Преторнус злобно взглянула на нее и резко сказала:

— Твои новые дружки вбили это тебе в голову? Кафрам не-  
зачем учиться читать!

Больше к своей просьбе Сара не возвращалась, испугавшись, что ей могут запретить встречаться с друзьями. Но когда хозяев не бывало в комнате, она часто подолгу всматривалась в раскрытые страницы книги, словно в поисках какого-то ключа, который помог бы ей расшифровать загадочные знаки и сделать понятнее и ближе мир ее друзей.

Однажды хозяйка застала ее за этим. Сара смотрела на раскрытые страницы Библии, и слезы текли по ее лицу. С холодной яростью старуха захлопнула тяжелую книгу и из всех сил от-  
весила Саре две пощечины: справа и слева.

Элфи первый отошел от их компании. Старые игры ему на-  
доели, а ожидать, что девчонки начнут играть в футбол или кри-  
кет, не приходилось.

Для Джесси и Делли задний двор тоже стал только двором, маленьким и тесным, и они уже с начала недели предвкушали субботнее удовольствие: как они станут в очередь за билетами на дневной спектакль. Все чаще начали они уходить на прогул-  
ки по городу.

Их внезапные решения предпринять прогулку сначала не трогали Сару: она просто говорила им, что занята и не может пойти, когда они ее звали с собой. Хуже было, когда они сидели дома и Сара слышала через окна их смех или звуки музыки. Часто к ним приходили новые знакомые, и тогда они совсем не выходили на задний двор и не звали Сару. А она пряталась в хозяйском саду, стараясь услышать, что они делают, ловя каж-  
дый взрыв смеха, крики, кашель, хотя от всех этих звуков ей хо-  
телось зарыдать.

Делли и Джесси с матерью шли по улице Кеннели от трам-  
вайной остановки, где к ним присоединился Элфи, возвращав-  
шийся из школы. Когда они проходили мимо дома Преторнусов,  
их радостно окликнула Сара.

Мать Джесси резко остановилась.

— Сара,— сказала она,— я не позволяю тебе разговаривать  
с Джесси. Если я увижу это еще раз, то пожалуюсь миссис Пре-  
торнус.

Сара побледнела.

— Хорошо, миссис Кемпбелл,— пробормотала она.

Белые люди продолжали путь в неловком молчании. Сара ясно видела возмущение на лице Элфи.

Перед своей калиткой мать Джесси повернулась к Элфи и сказала, словно чувствуя потребность объясниться:

— Не подумай, что я имею что-нибудь против туземной девушки. Все было хорошо, когда вы были маленькими. Но представь, что скажет мальчик, идущий рядом с Джесси, если к ней вдруг подойдет черная девушка и заговорит как равная!

...Прошло много времени. Как-то, гуляя с приятелями, Элфи увидел темнокожую девушку-служанку с красной повязкой на голове. Девушка пристально смотрела на него. Уже пройдя мимо, он понял, что это Сара, и остановился. Он хотел было вернуться и подойти к ней, но постеснялся заговорить с женщиной-туземкой при своих знакомых. Он все же оглянулся, изобразив на лице улыбку, но Сара уже не смотрела на него.

Она стояла, сняв красный платок и держа его в руках. Красная материя, как кровь, струилась у нее между пальцами...

## ДОРОГА НА СЕВЕСТРУМ



н брел долго, с самого рассвета, еле передвигая ноги. День уже клонился к закату, хотя солнце, словно расплавленная масса металла, все еще ярко пылало в раскаленном небе. Горы, то низкие, то остроконечные, то скалистые, походили на стены из черного железа и сланца, они дрожали в жарком мареве, но кое-как уже покрылись синей предвечерней дымкой.

Старик поставил корзинку, в которой тащил кота Гома, и открыл крышку, чтобы выпустить его.

Кот не пошевелился, а лишь уставился на хозяина обиженными желтыми глазами. Эбрем достал из кармана маленький кусочек засохшего мяса и протянул его коту, и Гом мгновенно выхватил его.

— О, так ты, пожалуй, и палец отхватишь.

Кот грациозно выпрыгнул из корзинки и, замурлыкав, устроился под резко пахнущим кустом, чтобы съесть лакомый кусочек.

Это было красивое животное рыжевато-коричневого цвета, с длинными кисточками на кончиках ушей и пушистым хвостом. В жилах животного текла кровь его диких предков.

Эбрем посадил кота снова в корзинку, выпрямился и почувствовал, как закружилась голова и все как будто поплыло. Когда

в глазах у него прояснилось, он нетвердой рукой провел по лицу. Ему привиделась ферма хозяина, вернее, призрак ее, вскоре превратившийся в мерцающую дымку. Все находится дальше, чем кажется. Сопки, скалистые и неприступные, по мере приближения к ним отодвигаются. За ними тянутся голубые отроги гор, а еще дальше — нечеткие, расплывающиеся контуры других вершин. Таков же твой путь к смерти — длинная дорога, конец которой тебе неведом.

Время от времени взор старика вдруг прояснялся настолько, что все вокруг него приобретало яркость и четкость: еле заметный след на пыльной земле, бесцветный песчаный паук или дрозд, внимательно следящий за путником из-за камней. Вот перед ним два небольших холма, увенчанных красными скалистыми вершинами, они похожи на часовых, охраняющих равнину. Холмы эти он знал как свои пять пальцев, но и они вскоре стали расплываться и таять. Эбрем был стар, ему перевалило за восемьдесят, лицо его давно уже приобрело желтовато-коричневый оттенок и каменную неподвижность. В его жесткой бороде еще оставались черные волосы, у него был короткий прямой нос, унаследованный от какого-то белого предка, а глаза, черные и застенчивые, поблескивали, как у молодого. Он шел прямо, не горбясь, только медленно и устало, и глаза его пытливно смотрели из-под полей старой шляпы.

Когда он подошел к двум холмам, навстречу ему, кружась и подпрыгивая, словно гонимый невидимым ветерком, выбежал маленький мальчик. Это был Кут — его правнук. Казалось, он вобрал в себя все цвета пыли, скал и кустарника. На нем был старый, в два раза больше его самого, мужской пиджак, который развевался, как крылья летучей мыши. Длинные волосы мальчика были всклокочены и покрыты толстым слоем пыли, он мчался навстречу, широко раскинув в стороны руки и приплясывая худыми босыми ногами от безотчетной радости, что он просто живет на этом свете.

Кут носил ту же фамилию, что и старик — Зваан. Его родители умерли, и он жил у Ма Марй, в одном из бараков для работников фермы. Среди работников окрестных ферм и поселков были и другие Звааны, но никто из них не претендовал на родство с Эбремом и Кутом и не интересовался ими, а разница в возрасте между стариком и ребенком была так велика, что и они были слабо связаны друг с другом.

Кут взял в руки корзинку и, вглядываясь внутрь через прутья, весело спросил:

— Это кто, рысь?

— Нет, кот, Гом. Осторожно, он царапается.

— А что он ест?

— То же, что и я, — козье молоко и все такое. Иногда он ловит птиц или змей. Но если кошкам позволить питаться только дикими животными, они и сами становятся полудикими и скоро умирают. Одичанье губит их.

От постоянного молчания голос Эбрема звучал хрипло, иногда срываясь на свистящие, скрежещающие нотки. Эбрем жил один в Сёвеструме — отдаленном пастбище главной фермы — и ни с кем не разговаривал по целым месяцам, пока не проделывал по крутым и узким тропам двадцать две мили, чтобы добраться до фермы. Почти тридцать лет проработал Эбрем пастухом в этом самом Сёвеструме и жил один-одинешенек в маленькой хищине из камня и соломы. Его жена давно умерла, и последние тридцать лет он управлялся без посторонней помощи. А теперь жизнь его подошла к концу. Он стал слишком стар, чтобы жить дальше.

— Зачем ты принес кота? — спросил Кут.

— По этой причине.

— По какой этой, грут оупа?<sup>1</sup> Ты ведь не сказал!

Эбрем остановился и посмотрел на ребенка, лицо которого вдруг предстало перед ним с поразительной четкостью: в уголках глаз и вокруг рта ползали мушки, но глаза эти светились умом, добротой, веселым задором.

Кут откинул со лба грязную прядь волос и улыбнулся:

— Эх, грут оупа, ты, кажется, малость спятил. Забываешь, что сказал, а чего не говорил.

— Хм. Может, я и спятил.

— Так зачем ты принес Гома?

— Ах, да. Я принес его потому, что всё, баста. Груту оупу пришел конец. Ты понял?

Зеленоватые глаза мальчика затуманились, он моргнул и шлепнул рукой по корзине:

— Если тебе кот уже не нужен, можно, я возьму его себе?

— Ты возьмешь его, когда я умру.

— «Умру, умру»! Разве ты скоро умрешь?

В одно мгновение до мальчика дошел смысл этих слов, и он разразился слезами. Он бросил корзинку и рывком обхватил колено Эбрема.

---

<sup>1</sup> Грут оупа (африкаанс) — прадедушка.

— Не умирай, не умирай, грут оупа! Я убегу к тебе жить. Меня тут без конца бьют. Все время, все время, каждый день.

— Встань, малыш, пойдем!

— Если ты умрешь, мне не нужен никакой кот.

— Я еще не умираю, не сейчас еще, малыш. Я напугал тебя, да? Грут оупа уже очень стар и устал, и поэтому я сказал, что все покончено с Севеструмом, только и всего. Грут оупа больше никогда не вернется в Севеструм. Ну вставай, подними корзинку.

Они продолжали путь вместе. Мальчик без умолку болтал, смеялся, пел, так что голова у старика шла кругом. Время от времени ребенок ставил на землю корзинку, хватал камень и запускал в какую-нибудь птицу или ящерицу. Он вертелся волчком, полы его пиджака развевались, и, вспыхивая в косых лучах заходящего солнца, он казался клочком бумаги, кружащимся в смерче.

Для Эбрема ребенок был единственным близким родичем, но и это он уже помнил смутно.

Кут загнал овечье стадо на ночь в недоступный для шакалов крааль<sup>1</sup> и теперь радовался, как дикий козленок, тому, что возвращается домой вместе с прадедушкой и котом Гомом. На ферме его действительно часто били. Он воровал, обманывал, мошенничал, жульничал и не помнил такого дня, когда бы ему не попадало. Если не доставалось от самого фермера мистера Шока Дбуэла, то управляющий Хэндрик Штольц больно стегал его ремнем по спине. Но чем сильнее его наказывали, тем больше проступков он совершал. Он воровал все, что плохо лежит, причем эти вещи были ему совершенно не нужны. Однажды, когда строилась дамба, он стащил динамит и пытался взорвать его, к счастью безуспешно. Мистер Доуэл жестоко избил его. Кут никогда не воровал только у Ма Мари, приходившейся ему дальней родственницей. Ма Мари частенько обнаруживала у себя на кухне то яйца, то консервированное мясо, то смятую кофточку, и тогда она дрожала и грозила Куту, что отошлет его в пустынный Севеструм к его одинокому прадеду.

— Можно, я буду жить с тобой, грут оупа? — неожиданно спросил мальчик.

Эбрем как-то неопределенно покачал головой и продолжал, не останавливаясь, тяжело плестись по пыльной дороге.

Наконец они добрались до фермы. Уже наступил тот корот-

---

<sup>1</sup> Крааль (южно-афр.) — загон для скота.

кий период между закатом и сумерками, когда вся степь как будто трепещет под огненно-красными лучами вечернего солнца и небо во всю ширь расцвечивается непрерывно меняющимися красками.

Кут носился вокруг, на его лице пылал красный отсвет заката и отражался ненасытный восторг, словно он видел ферму, усадьбу, амбар с люцерной, навесы для шерсти объатыми пламенем. Он ринулся к Ма Мари показывать кота, потом, оставив его в доме, выскочил и стремглав побежал в лавку, где работники фермы покупали продукты. Фонарь, раскачиваясь на балке, освещал управляющего Штольца и его помощников в то время, как они взвешивали муку, фасоль, сахар и записывали сумму в долговую книгу.

Сам мистер Доуэл, человек лет сорока, смуглый, загорелый, с копной черных волос на голове, сидел за покрытым бумагой столом и наблюдал. Он шутил с покупателями и громко смеялся, закидывая назад голову и показывая крепкие зубы.

Почти каждый работник фермы, пастух, служанка и даже дети были по уши у него в долгу и всю жизнь тщетно старались вырваться из этой ловушки. Мало кто не числился в должниках у фермера. Разве что отдельные чернокожие, которые, не считаясь с законами, бродили, подобно теням, где-то на самом дальнем краю полупустыни, ничего не имея, кроме железной коробки на спине да огромной физической силы.

Эбрем подождал, пока последний покупатель получил хлеб, муку и соль, и тогда направился в лавку, низко склонив голову. Он искал, на чем бы остановить взгляд своих покорных темных глаз.

— Ну, Эбрем, что привело тебя сюда раньше времени? — спокойно спросил мистер Доуэл.

— Нет, баас, это мое время, и оно наконец пришло.

— Что ты хочешь этим сказать, старик?

— Я отжил свое. Я... я ушел из Севеструма навсегда и вернулся домой умирать.

Фермер громко расхохотался, а Штолец взглянул на старика улыбувшись, но при этом сильно нахмурил брови.

— Что это тебе вдруг пришла фантазия умирать и кто, между прочим, позволил тебе бросить овец? Что теперь с ними будет?

— С овцами? О, с ними ничего не будет. Забор крепкий. Козы приведут их на ночь в крааль, а завтра пошлите другого пастуха.

— Другого пастуха? Нет, здесь ты, голубчик, глубоко ошибся. Ты сам вернешься туда.

— Но, баас, я слишком стар. Я отработал на вас, на вашего отца и вашего деда семьдесят лет. У меня больше не осталось сил.

— Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, как ты намерен вернуть мне свой долг?

— Долг? Баас, но я ничего... ничего не должен.

— Как? Ты ведь еще ни цента не заплатил за похороны жены и за доктора — он дважды ездил к ней из Крёмкамма.

— Жены? — Старик оглянулся вокруг ошеломленный. — Но она ведь умерла больше... больше тридцати лет назад.

— Ну и что? Ведь это все же была твоя жена, Анна. Не ври, Эбрем. Мне все это влетело в четырнадцать фунтов. У меня все записано вот здесь, в этой долговой книге.

— Четырнадцать фунтов?

Мистер Доуэл рассмеялся и, подойдя к старому пастуху, дружески похлопал его по плечу и почувствовал, как в нос ударил острый, стойкий запах овчины.

— Так-то, старина, тебе придется все это отработать. Завтра я отвезу тебя к перевалу, и ты как раз успеешь загнать овец в крааль. Тебе еще не пришла пора уходить на пенсию — еще рановато. Да и вилла на морском берегу еще не готова для тебя, Эбрем.

Фермер громко рассмеялся, а Штольц, мрачный детина, выдавил из себя смешок. Они вытолкали Эбрема из лавки, закрыли ее, и мистер Доуэл, раскачивая в полутьме лампой, пересек двор, под его размеренными шагами похрустывал гравий.

Поздно вечером Эбрем подошел к двери кухни и попросил слуг позвать хозяина. Он долго ждал, примостившись в уголке у печки, пока не вошел мистер Доуэл в сопровождении двух белокурых дочерей в пижамах и с ленточками в волосах. За ужином фермер выпил, и теперь его лицо пылало.

— Вот мой долг, баас, четырнадцать фунтов.

Эбрем протянул маленькую пачку смятых бледно-зеленых банкнот. Фермер еще больше покраснел, он явно смутился. На самом деле такого долга за Эбремом не числилось, и какое-то мгновение фермер не решался притронуться к деньгам, потом взял их, но продолжал держать в руке.

— Откуда они у тебя?

— Это мои деньги. Я их скопил.

— А как прикажешь поступить с двадцатью овцами, которых



ты недосчитался два года тому назад. А-а! Ты даже вскочил? Ты заплатил мне за них? Я ведь знаю, ты продал их еврею!

Фермер уже кричал, все больше и больше распаляясь, а старый пастух безмолвно стоял перед ним, не решаясь поднять полные гнева глаза. Фермер в ярости повернулся к дочерям:

— А вы что здесь рты разинули? Марш отсюда.

Девочки пулей выскочили из кухни. Слуги неслышно прошмыгнули через заднюю дверь.

— Итак, ты должен мне еще шестьдесят фунтов за тех овец. И не спорь. Все эти годы я держал тебя и платил больше, чем ты заслуживаешь. Забирай свои деньги назад и отправляйся работать, пока я сам не решу, что тебе пора кончать. Понял, Эбрем? Завтра тебе надо быть на месте.

— Воистину несправедливый стыда не емлет... — тихо пробормотал старик.

— Что ты там сказал?

Но Эбрем уже повернулся и вышел во двор под усыпанное звездами небо. Далеко впереди сверкало море электрических огней. Воздух посвежел, пахло росой. Старик вынул из кармана рубашки кисет, висевший на бечевке у него на шее, и тщательно спрятал в него те самые четырнадцать фунтов, на которые надеялся купить себе покой и свободу.

Мистер Доуэл поднялся на рассвете, загрузил в «джип» пропитанные лекарствами брикеты соли для овец с Севеструма, прихватил черного батрака по имени Лонг-Пайет, а сзади посадил Эбрема с его котом Гомом, упрятым снова в корзинку.

Едва «джип» загрохотал по неровной дороге, выскочил Кут и с пропительным воплем бросился бежать за машиной. Полы его старого пиджака трепетали, словно крылья у чибиса, цепляясь за чахлый кустарник. Эбрем не видел и не слышал Кута. Старик потерял счет времени, пока они тряслись восемнадцать миль по ухабистой дороге и пока, наконец, «джип» не добрался до перевала, где Лонг-Пайет быстро разгрузил его. Фермер торопился назад.

Еще четыре мили до хижины и загопа им пришлось карабкаться по узкой каменистой тропинке. Лонг-Пайет шел впереди с тяжелым грузом на широченных плечах, а старик плелся сзади, еле таща корзинку с котом. Временами кот поднимал злое вой, словно чуя, что его путешествие подходит к концу. Лонг-Пайет сбросил ношу у полуразвалившейся хижины пастуха и, вернувшись назад к тропинке, не увидел старика. Наконец

до его ушей донеслось мяуканье, и, ринувшись вниз, Лонг-Пайет обнаружил, что Эбрем упал в расщелину между камней и лежал там, словно брошенный мешок. Шапка слетела у него с головы, и солнечные блики сверкали на сухом коричневом черепе с еще сохранившимися кое-где колечками волос.

— Что случилось, отец? — тихо проговорил, склонившись над стариком, Лонг-Пайет, и тот пошевелился, моргая темными потухшими глазами.

— Ничего, просто я очень устал, очень устал, — чуть слышно пролепетал он.

Лонг-Пайет легко взвалил старика на плечи, поднял корзинку и зашагал к хижине. Изогнутое от старости дерево отбрасывало небольшое пятно тени. Здесь Лонг-Пайет бережно опустил пастуха на землю, прислонив его спиной к стволу. Шагах в ста от хижины на фоне раскаленного неба ярко поблескивали неподвижные металлические лопасти ветряной мельницы. Несколько овец и коз стояли под чахлыми кустами, тяжело дыша и склонив головы к корыту с водой.

Лонг-Пайет пошел к ветряку, чтобы там набрать из желоба воды. Он поднес к губам старика ведро с водой — теплой и солоноватой. Все же она оживила его. Старик вспомнил про кота и открыл корзинку. Кот лениво вылез, потянулся, зевнул и заскреб когтями о шероховатую жесткую кору дерева.

— Это не дело, дед, ты стал слишком стар, чтобы работать, — сказал Лонг-Пайет на резком, энергичном африкаанс.

— Да, я слишком стар, — согласился пастух, — но баас, он ведь никогда не отпустит, никогда. Он злее своего и отца и деда. Какие уж те были жестокие, а этот оказался еще похлеще.

— Что, разве весь мир принадлежит ему одному?

Эбрем кивнул, он давно уверовал в это, а черный великан громко рассмеялся.

— Баас говорит, что он всегда и во всем прав и справедлив — только он один.

— О! Вот как?!

— Его послушать, так все остальные несправедливы.

— Ты его овечка, а мы бараны. — Лонг-Пайет шлепнул себя по ногам и взорвался новым приступом смеха. — Но подожди, однажды и он найдет свою смерть на скотобойне.

Старый пастух в испуге поднял глаза, страх сжал сердце.

Старик понимал, что нечего бояться, но ему вдруг почудилось, будто он спит и кто-то посапывает у трещины в стене.

— Зачем ты это сказал? — спросил Эбрем хриплым голосом.

Но Лонг-Пайет продолжал смеяться.

Вскоре Лонг-Пайет опять отправился к перевалу, где фермер свалил свой груз, за новой партией соли для овец. Эбрем же остался под деревом, время от времени впадая в дремоту. Весь день напролет Лонг-Пайет сновал туда и сюда, и штабеля брикетов соли все росли и росли у задней стены пастушьей хижины. Он был неутомим и, казалось, мог перетащить на своих плечах любую тяжесть с другого конца земли. Удаляясь по тропинке, он казался маленьким и черным, как уголек, а приближаясь, постепенно вырастал чуть ли не до размера ветряной мельницы и, шагая с высоко поднятой головой, как бы нес кусок неба на своих необъятных плечах. Эбрем не чувствовал жары. Он знал, что ему пора загнать и подоить коз, но он слишком устал. Лонг-Пайет сварил кофе, и они поели хлеб с луком и сушеную рыбу. Это немного подкрепило старика, он встал, осмотрел загон для овец, свою хижину, положил коту еды в железную миску.

Но когда под вечер Лонг-Пайет отправился в обратный путь на ферму, оставив старого пастуха одного, тот ощутил такую опустошенность, будто солнце покинуло землю раньше времени. Никогда не бывало с ним ничего подобного, но сейчас он не мог перенести одиночества и провожал взглядом удалявшегося Лонг-Пайета до тех пор, пока перед глазами не осталась лишь одна голая, раскинувшаяся у подножия гор долина.

Что-то тупо долбило мозг, но постепенно его вновь одолели воспоминания: вот вертится, крутится и приплясывает без усталости малыш Кут с нежным лицом и сверкающими зеленоватыми глазами; этот ребенок — его плоть и кровь — так и остался для него загадкой.

Эбрем достал деньги и спрятал их в разных углах хижины. Руки его слегка дрожали и едва удерживали треснувший кофейник, куда он положил несколько золотых sovereignов, полученных еще шестьдесят лет назад, во времена англо-бурской войны, когда он работал возчиком для английских войск.

Нары с матрасом, набитым бессмертником, стояли на своем прежнем месте. Старик понял, что ему никогда больше не придется спать на них, и отвернулся. Сухие брикеты овечьего навоза, приготовленного для топлива, громоздились пирамидой у двери, но старик и не подумал развести огонь. Он вышел из хижины, расстелил одеяло под деревом, сел, прислонившись спиной к стволу, и стал смотреть на закат солнца. Гом свернулся у его ног и принялся умываться, ловко вылизывая себе лапку и по-

скребывая ею за ушами. Близлежащие холмы пылали то розовым, то ярко-красным, словно раскаленные кристаллы, а голубая линия гор над ними, казалось, уходила в бесконечность. Эбрем растянулся на спине, положил голову на корни старого дерева, руки скрестил на груди. Строгий и величественный, закинув вверх прямой нос и редкую бородку, смотрел он на последние всплески закатного неба, потом веки его в глубоких и темных глазницах опустились.

Ночью кот, подняв дыбом шерсть на спине и хвосте, пошел прочь, одним прыжком вскочил на дерево и оттуда на крышу хижины.

Три недели спустя удравший с фермы Кут прибежал в Севеструм в поисках убежища у своего прадедушки. Все его худенькое тело болело после очередных побоев, которые на этот раз достались ему и от мистера Доуэла и от управляющего Штольца. Они били его по очереди. Он вовсе не хотел поджечь амбар с люцерной. Но кто-то помимо его воли, какой-то дьявол, как сказала Ма Мари, проник внутрь его сердца, и он просто не мог с ним сладить, когда тот заставил его чиркнуть спичкой и зажечь сухое, хрустящее сено. Это было поистине неописуемое, ужасающе-прекрасное зрелище — столб пламени взметнулся вверх, ярко осветив ночь. Казалось, они вышибли из него душу, и он действительно был полумертв, когда его нашли лежащим плашмя у плотины, с залитым слезами лицом.

Эта картина до сих пор стояла у него перед глазами, он изредка всхлипывал, пока шатаясь брел на своих худеньких ножках в Севеструм.

Он добрался до хижины только к вечеру, по его острые молодые глаза еще издали заметили старика, спящего под деревом. Сначала он испугался и спрятался за валуном, но наконец справился с собой и решил подойти поближе. Он опустил голову, ссутулил плечи и поплелся, взбивая пыль на дорожке. Он боялся, что старик вдруг заметит дьявола в его сердце. Подойдя ближе, он вдруг услышал зловеющий вой кота и, подняв голову, увидел, как тот вскочил на дерево и тут же перепрыгнул с него на крышу хижины. Мальчик понял: случилось какое-то несчастье. И сердце его болезненно затрепетало.

— Грут оупа! — позвал он, но старик не шевельнулся.

Мальчик медленно прокрался вперед. Да, так и есть. Грут оупа мертв. Он умер уже давно и все лежал под деревом, скре-

стив на груди руки, закрыв глаза, в естественной позе, будто спал, высушенный солнцем, овеянный ветрами родной степи.

Кут даже не остановился. Он ринулся прочь со всех ног. И так как во всем мире не было другого человека, которому он мог бы рассказать о случившемся, он помчался обратно на ферму к мистеру Шоку Доуэлу.

Тут же послали в Кромкамму Штольца, и вскоре он вернулся с доктором Штейном — местным хирургом и сержантом Мейером — начальником полицейского участка. Мистер Доуэл сел вместе с ними в «джип», и они выехали к перевалу, находившемуся на расстоянии восемнадцати миль от главной фермы.

— Поскольку Кут обнаружил мертвого Эбрема первым и приходился ему родственником, они разрешили и мальчику примоститься в «джипе» на полу у ног доктора. Доктор Штейн был болезненным молодым человеком с тихим, мягким голосом и печальными глазами. «Джип» бросало из стороны в сторону, пока они бесконечно долго тряслись по камням и песку, а Кут, свернувшись на полу, как маленький звереныш, спал.

— Неужели вся эта земля ваша? — спросил доктор Штейн, глядя сзади на шею фермера.

— Да, здесь все мое, — подтвердил мистер Доуэл.

— Боже, что за местности!

— Согласен, выглядит она не очень красиво, но зато здесь отличная земля.

— Отличная земля? — тихо спросил доктор.

— Для овец она великолепна. Чтобы содержать одну овцу, требуется всего десять моргенов земли, и если у тебя ее много, то все в порядке. Да и рабочая сила тоже обходится дешево.

Последние четыре мили им пришлось спускаться по скалисто-му склону горы и продираться через колючий кустарник в долине.

Подойдя к хижине прадеда, Кут почувствовал панический страх и спрятался за спину доктора, иногда выглядывая, чтобы рассмотреть, лежит ли еще старик на прежнем месте.

— Смотрите! — пронзительно вскрикнул он. И все увидели, что кот, ошетилившись так, что увеличился почти в два раза, вскарабкался на дерево и оттуда перепрыгнул на крышу.

Когда доктор стал осматривать тело пастуха, Кут вышел из-за угла хижины. Сержант стоял рядом, уперев руки в бока, а мистер Доуэл уставился на ветряк, медленно вращавший крыльями на слабом жарком ветерке.

— Ну, вот, — сказал доктор, — конечно, никакого насилия

не было. Смерть была легкой. Взгляните на его лицо. Он умер по меньшей мере две-три недели назад, а выглядит так, будто его не коснулись ни смерть, ни тление.

Полицейский вошел в хижину, и Кут бросился прочь от двери. Ребенку хотелось взять кота себе. Ведь грут оупа обещал ему. Корзина лежала рядом с деревом, и он с радостью унес бы Гома домой к Ма Мари, если бы они позволили.

Полицейский нашел деньги в кофейнике — английские золотые соверены с профилем королевы Виктории на одной стороне и святым Георгием, убивающим дракона, на другой. В расщелине стены он нашел и табачный кисет со старыми помятыми банкнотами. Пока трое белых обыскивали хижину, Кут забрался на дерево, а с него на крышу и стал ползать за котом, наконец тот разрешил ему себя погладить.

Они нашли запрятанными в разных местах еще семьдесят восемь фунтов, кроме тех золотых соверенов.

— Старик теперь может купить себе целое поместье, — засмеялся сержант Мейер.

Он сложил деньги, записал сумму в журнал и дал подписаться двум свидетелям.

— Кому достанутся эти деньги?

Кут слез с дерева. Ему удалось засунуть кота в корзинку, и сердце его ликовало. Он стоял на коленях, рядом с корзинкой, что-то ласково нашептывая коту, благоговейно разглядывая через прутья его горящие глаза. Подошел полицейский, и мальчик вскочил.

— Можно мне взять кота, баас? — взмолился он. — Грут оупа обещал мне Гома. Честное слово, это хороший кот.

Сержант Мейер расспросил ребенка о его семье. Мальчик отвечал еле слышно, где надо привирая и облизывая вспухшие, потрескавшиеся губы.

— Этот может считаться ближайшим родственником старика, — сказал сержант, обернувшись к фермеру. — Кто-нибудь еще есть в живых?

— Насколько я знаю, нет.

— Тогда он сможет получить деньги, если не объявятся другие претенденты.

— Наверняка объявятся, — засмеялся мистер Доуэл. — Едва прослышат о деньгах, набегут со всех сторон. Но Эбрем задолжал в первую очередь мне. Он остался мне должен четырнадцать фунтов за похороны жены, и еще шестьдесят — за тридцать пропавших овец, да и расходы по этим похоронам тоже лягут на

меня, не говоря уже о том, что придется гонять туда-сюда машину.

— Понятно,— сказал сержант, уставившись на фермера в упор прищуренными голубыми глазами.— Ведь этот чертеныш сжег ваш амбар?

— Именно он.

— Вы можете претендовать на имущество Эбрема Зваана, если представите нужные доказательства. От меня это не зависит, мистер Доуэл. Доказательства потребуются судье.

— У меня есть необходимые доказательства. Я предъявлю свои претензии. Он задолжал мне более восьмидесяти фунтов.

Сержант Мейер пожал плечами и обменялся взглядом с доктором.

— Парня выпороли?

— Да, он свое получил.

— А как быть с котом?

Кут с ужасом ждал ответа, но хозяин промолчал. Потом они заговорили о деньгах, которые пастух нажил за семьдесят лет своего каторжного труда, и полицейский сказал, пожав плечами:

— Какая была ему от них польза?

Молча они отправились в долгий обратный путь к перевалу, где оставили «джип».

Лонг-Пайет и другие придут сюда позже с гробом, чтобы забрать высохшее тело грут оупы, но сейчас мысли Кута были заняты лишь одним: ему позволили взять кота и это было пределом его мечтаний. Он плелся, пошатываясь, за тремя взрослыми мужчинами, со своей корзинкой, которая с каждым шагом становилась все тяжелее, и его руки и все кости ныли от боли.

Во время обратного пути на ферму он снова сидел в «джипе» на полу, у ног доктора, крепко прижимая к себе корзинку.

Когда кот вдруг начинал завывать, Кут шепотом, но настойчиво старался успокоить его. Гом был его первой настоящей собственностью.

Кут так и уснул, уронив голову на корзинку, и ему приснился пожар со всем его ужасом, волшебством и безумием. Вот он стоит у дамбы, а Гом с крыши хижины прыгает прямо в огонь. Его шерсть и рыжий хвост вспыхивают ярким пламенем.

Доктор видел, как из закрытых глаз мальчика полились слезы и покатались по тонкому носу.

Доктор взглянул на крепкую, задубленную шею мистера Доуэла, на суровые горы, на иссиня-стальное небо и вспомнил слова: «Здесь все мое!»

## БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО



Дети стояли в траве среди высоких алоэ. Было раннее утро, и недвижный воздух чуть-чуть отдавал горьковатым запахом цветов алоэ: повсюду среди серых базальтовых валунов тянулись к ярко-голубому безоблачному небу эти колючие великаны, будто покрытые зеленой глазурью.

Кто-то из детей крикнул:

— Ого!

И эхо ответило:

«Ого-го-о-о!»

Они рассмеялись и начали кричать все вместе, а эхо раскатами вторило им. Стайка красноперых скворцов взмыла со свистом кверху и снова расселась по кустам.

В пещерах камни всегда хранят прохладу — даже при самом жарком солнце, когда вельд дремлет в приятном зное. Где-то внизу слышалось журчание подземного ручья, вода вытекала из земли на большой глубине и бежала по узкой теснине, заросшей кустами и папоротником, к водопадам и озерцам с холодной и чистой водой; далеко внизу, на песчаной равнине около деревни, ручей превращался в неглубокий водоем с каменистым дном, и люди брали из него воду для себя и своего скота.

Детям деревня была уже не видна, она скрылась за холмами

в долине, расположенной на целую милю ниже. Они пришли сюда очень рано, еще до утренней дойки коров, и, как только забрались на вершину холма, стали кричать, прыгать и кувыряться в жесткой зеленой траве среди диких гвоздик, колокольчиков и глазастых маргариток. На кустах алоэ еще не было цветов, они появятся зимой. Утро было как большой умолкнувший колокол; они забавлялись эхом этого «колокола» и не знали, что счастливы.

Двое из детей выделялись — их лица, руки и ноги были теплого персикового цвета, волосы выгорели на солнце и стали светло-соломенными, а глаза остались ярко-голубыми, как вода в Северном море. Хлопчатобумажное когда-то белое платье девочки — она была постарше — так пропиталось пылью и грязью, что стало красно-желтым, как здешняя земля. У мальчика — звали его Мърникс — нос и щеки шелушились от солнечных ожогов, а на голове была обвисшая широкополая шляпа на резинке. Остальные шестеро были черными; на теле ничего, кроме бус и лохмотьев. Бхэка, самый младший, лет пяти, вообще был голый, если не считать веревки вокруг толстенького животика.

Белой девочке, Аннелизе, было девять. Она переросла всех остальных, хотя и выглядела их сверстницей или чуть постарше. Они не знали, сколько им лет. Правда, одна из них — девчушка с прямым носиком, широко посаженными глазами и золотисто-черной кожей — уже вступала в пору зрелости. Звали ее Номсаса, и она верховодила всеми этими детьми, потому что мальчиков ее возраста здесь не было, они уже помогали взрослым — пасли скот или гоняли птиц с полей.

Спасаясь от наступавшей жары, девочки вместе с Аннелизой спустились в ущелье, чтобы освежиться под струями водопада. Они помогли своей белой подружке раздеться и пришли в восторг от упругой мягкости ее кожи с просвечивающимися венами, на которую сквозь густую листву падали пятнышки света. Осторожно притрагиваясь к ее телу, как бы желая удостовериться, что кожа у нее не покрашена, они во все глаза глядели на нее и смущенно посмеивались.

Аннелиза родилась и выросла на крайнем севере Голландии, говорила только по-голландски и по-английски, но понимала, о чем болтают ее черные подружки.

Номсаса прыгала вокруг Аннелизы, хлопала в ладоши и громко смеялась.

Аннелиза тоже смеялась в ответ. Она распустила по плечам льняные волосы и начала плясать под холодными струями водо-

пада, судорожно глотая воздух, но не удержалась на скользком камне и плюхнулась в воду. Остальные девчушки с радостным визгом последовали за ней. Выйдя из воды, чернокожие девочки отряхнулись и вновь нацепили бусы и лохмотья, а Аннелиза вытерлась нижней сорочкой и натянула ее на себя. Никто не одергивал и не поучал ее, и она от всей души радовалась жизни.

У Марникса на поясе висел небольшой охотничий нож, в руке он держал крепкую палку. Бхека был вооружен миниатюрным нобкерри<sup>1</sup>, которым уже умел пользоваться, как настоящий воин. Опасность подстерегала на каждом шагу — взрослые не раз пугали Бхеку одноглазым великаном-людоедом, у которого на голове вместо волос растет трава — да и то на одной только стороне, — и оба мальчугана готовы были каждую секунду броситься наутек, если тот вдруг появится. Однако самое страшное, что они обпаружили, лазая по скалам и взбираясь на гладкие стволы гигантских алоэ, были всего лишь кролики, прыгающие с визгливым шумом в расщелинах скал. В пещерах стоял затхлый запах летучих мышей и кроличьего помета, а в одном месте, под скальным выступом, они нашли гнездо дикого голубя. Бхека вытащил двух неоперившихся птенцов, свернул им шейки и съел одного. Другого великодушно отдал Марниксу, но тот не смог последовать примеру Бхеки — во всяком случае, был недостаточно голоден для этого — и положил мертвого птенца в карман рубашки. В глубине пещеры, где было совсем темно, он поднял что-то белое и круглое и стал вертеть находку в руках. Увидев пустые глазницы и оскаленные зубы, они сразу поняли, что это человеческий череп. Марникс отшвырнул его в ужасе, и оба мальчика опрометью кинулись вон из пещеры.

На открытой поляне они увидели незнакомого человека, который сидел на валуне, держа между колен палку. Он был в городской одежде, но в волосах блестело черное птичье перо. Бхека сначала посмотрел на него с испугом, а потом узнал знакомого — это был его дядя, которого малыш давно не видел. Он робко подошел к нему поближе и сказал:

— Баба! (Здравствуйте!)

Марникс встал позади Бхеки и повторил приветствие. Мужчина улыбнулся:

— Ого, ты уже стал совсем наш!

Он дал обоим по леденцу и послал Бхеку за девочками.

---

<sup>1</sup> Н о б к е р р и (африкаанс) — дубинка с тяжелым набалдашником.

— Твой отец здесь. И мама тоже, — сказал он Маринкеу по-английски. — Я приехал с ними из города.

— Да-а?! — Маринке раскрыл рот в радостном удивлении

— Меня зовут Пит. Ваша няня Розеллина — моя сестра.

Маринке раскрыл рот еще шире и оглянулся. Увидев девочек, гуськом поднимавшихся из ущелья, он бросился, размахивая руками, к Аннелизе:

— Мама и папа приехали!

— Мама и папа? Где они?

Черные девочки узнали своего дядю и, опустив глаза, подошли к нему. Они полукругом стали в траве на колени и по сигналу Номсасы все разом поздоровались:

— Баба!

Дядя дал и им по леденцу, а Аннелиза поздоровалась с ним за руку, пытаясь скрыть возбуждение, и спросила о здоровье родителей.

— Они здоровы, — ответил Пит.

Он отметил про себя, что за неделю пребывания здесь девочка начала усваивать привычки и обычаи его народа. Он жевал травинку и смотрел на ее посвежевшее лицо со вздернутым носиком, вглядываясь в удивительно большие глаза девочки, выражавшие полное доверие к нему.

— Да, здоровы, — повторил он с некоторым смущением. — Пошли вниз, они ждут.

С каменистой гряды, возвышавшейся над долиной, они увидели синий автофургон, стоявший под эвкалиптом в проулке между хижинами и скотным загонem; свежий тростник ярко блестел под солнцем на крышах двух хижины, люди внизу казались мухами, ползающими между этими куполообразными домиками.

Подойдя к деревне, сестра и брат отделились от остальной компании и помчались изо всех сил. Они бросились родителям в объятия, потными руками обняв их за шею и покрывая поцелуями.

— Это не дети, а какие-то грязные зверушки! — воскликнула со смехом мать.

— Я приняла душ под водопадом!

— А я вымыл лицо!

— На прошлой неделе?

— Да. И на этой тоже.

— Ах, господи, но выглядите вы просто прелестно. Розеллина, правда, они похожи на перепачканные землей лилии?.. О, нет,

нет! Я не имею в виду ничего плохого — спасибо, спасибо тебе, что присмотрела за ними.

Зулуска кивала и улыбалась, но на глазах у нее были слезы. Отец детей снял и протер очки. У него был бронзовый загар человека, любящего свежий воздух; редкие светлые волосы окаймляли блестящую лысину. Аннелиза продолжала висеть на нем, пока их не окружили другие дети.

Рядом с белыми родителями под эвкалиптом сидел старейшина деревни Кхóки — толстяк со слезящимися глазами и длинными навощенными усами. На нем были бриджи с гетрами, из-под которых выглядывали босые ноги. Он сидел на ящике, а сзади — на циновках — примостились две его жены; отпив из глиняного горшка пива, он передал его гостям. Отец детей глотнул немного холодной кашицеобразной жидкости, а женщина только посмотрела на нее и передала дальше.

Пит сидел, прислонившись к дереву; позади него, почти невидимая в тени, примостилась Розелина.

— Эхе! — вздохнул хозяин и сказал что-то на своем языке.

— Мой отец благодарит вас за то, что вы приехали к нему в гости, — перевел Пит. — Он хвалит ваших детей, говорит, что вы добрые люди, и желает вам иметь еще много детей, скота и денег...

Старик вел себя как гостеприимный хозяин, но в его покрасневших глазках сверкала подозрительность. Он переводил взгляд с гостей на их запыленный голубой автомобиль и снова внимательно вглядывался в открытое простодушное лицо женщины. Однако ничего предосудительного он в гостях не заметил, кроме того разве, что они белые. Они приехали из далекой страны, чтобы остаться здесь навсегда: и они были голландцами — все-таки не бурами. Но вот подошло время прощаться, и гости поднялись. У него хватило любезности не отпускать их. Солнце стояло еще высоко. Он настойчиво предлагал отцу детей еще пива, а женщине подарил красно-белый коврик из телячьей шкурки.

Они позвали детей. У Марникса на рубашке выступило кровавое пятно. Что такое? В чем дело? Мальчик вытащил из кармана безголового голубенка.

— Боже мой! Откуда это у тебя?

— Бхека съел своего, а я... я...

— А ты не смог? Ах, бедный птенчик... Аннелиза, поехали! Где-нибудь остановимся на день-два, а потом — в город. Марникс, неси свои вещи.

- Уезжаем?
- Да, уезжаем!
- Да, да, время отправляться, — сказал отец.
- Мы не хотим. Мы останемся с Розелиной.
- Но помилуй! Вы и так уже здесь неделю!
- Ты говорила, что мы можем остаться, если захотим.
- Да, ты обещала. Каникулы же две недели! Что нам делать дома? — Девочка бросилась к Розелине и обвила ее шею руками. Маринке тоже уцепился за няньку.
- Розелина, оставь нас у себя! — захныкал он.
- А почему бы нет? — сказал с неуверенной улыбкой Пит, обернувшись к родителям детей. — Что в этом плохого?
- Ничего плохого.
- Апартеид<sup>1</sup> мешает?
- Ты знаешь, черт возьми, что это не так, Пит! — сказал отец. — Тогда бы мы вообще сюда не приезжали.
- Разрешите им остаться, миссус, я присмотрю за ними, — сказала Розелина. — Здесь их второй дом. Здесь безопасно, здесь им хорошо...
- Ну, ладно, ладно! Но не позже, чем до следующей субботы, Розелина. Мы опять приедем за ними и за тобой. В понедельник им в школу.
- Родители выгрузили из машины апельсины, консервы, свечи, мыло и бумажные пакеты с мукой, а Розелина сложила все это в своей хижине. Пит тоже забрал из машины свой чемодан и какие-то коробки.
- Мать подняла Маринку на руки, а он прижался к ней лицом, пытаясь сдержать слезы. Потом он выскользнул из ее объятий и, вытащив из кармана нож, стал обстругивать палочку — хотел показать родителям, чему он здесь научился.
- До свидания, сынок, — сказал отец.
- Пока, — ответил мальчуган, не оборачиваясь.

Сестра и брат спали «валетом» на односпальной кровати в хижине Розелины. Ее кровать стояла углом у двери. В центре хижины, внутри небольшого глиняного круга тлела белая зола — огонь уже догорел. Две маленькие девочки — одна из них была единокровной сестрой Розелины, дочерью отца от младшей

---

<sup>1</sup> Апартеид, или апартхейд, — расовое разделение, расовая дискриминация.

жепы, — тоже спали здесь: маленькие укутанные в одеяла комочки, лежащие на травяных циновках. Розелина содержала постели и хижину в чистоте и порядке, ежедневно обмазывала глиняный пол и подметала его веником из дикого аспарагуса. Сейчас она сидела на низенькой табуретке, завернувшись в плотное черно-красное одеяло. Напротив, по другую сторону глиняного круга, сидел на корточках ее брат Пит и курил трубку. Он размешивал угли и подкладывал ветки, пока не разгорелся огонь. Хижица со всех сторон была обложена тростником и прутьями, а пизкая дверь — единственный просвет наружу — плотно затворена и заперта за щеколду. У двери на ящике горела свеча. Долгое время брат и сестра молчали.

— Ну, давай! — Пит резко мотнул головой.

Розелина сбросила одеяло с плеч и подошла к кровати, где спали белые дети. Пит взялся за изголовье, она — за ножки кровати, и они осторожно отодвинули ее ближе к середине хижины. Пит открыл складной нож с длинным лезвием и начал рыть земляной пол. На глубине в один дюйм<sup>1</sup> он добрался до уложенных в ряд шиферных плиток. Они прикрывали длинную узкую щель, из которой он вынул сверток, где было что-то обернуто в парусину и просмоленную бумагу. Развязав сверток, Пит вытащил две короткоствольные боевые винтовки с черными металлическими прикладами. При свете свечи он разобрал их и смазал, завернул в парусину и снова положил в тайник. Потом достал из привезенного чемодана еще одну разобрannую винтовку и несколько коробок с патронами и уложил все это туда же. Достав из мешка несколько шариков глины, он тщательно размял их и заделал отверстие в полу. Розелина смела крошки сухой глины и замала свежую глину тонким слоем навоза.

— Что ты собираешься с этим делать? — спросила она.

— Разве ты не знаешь?

— Попадешься ведь!

— Если только ты проболтаешься...

— Как тебе не стыдно!

— Я к тому, что, кроме нас с тобой, никто больше этого не знает. Теперь все в твоих руках.

Они вновь поставили кровать с детьми на тайник, и Розелина вернулась на свое место.

— Я буду в прислугах еще год, а потом вернусь домой и выйду замуж, — сказала она.

---

<sup>1</sup> Д ю й м — мера длины, равная 2,5 см.

Он сидел, не отвечая, уставившись на огонь. Прошло много времени, прежде чем он встал и потянулся.

— Мне пора идти.

Перед уходом он подошел к кровати и посмотрел на раскрасневшихся детей.

— Тебе они нравятся?

— Да, — ответила она с внезапным испугом.

— Ты их очень любишь!

— Ах, брат, чего ты добиваешься?

— Но ведь это так?

— Сердцу не прикажешь! Да, правда, я их люблю. Они — как мои собственные, я готова умереть за них.

Он с улыбкой прикоснулся к волосам девочки. Розелина встревожилась, как бы та не проснулась, но Аннелиза только пошевелила губами и чему-то улыбнулась во сне.

— Посмотри, какие они юные и нежные. Они еще так податливы, что в них можно было бы вложить такую же добрую душу, как у нас. Но что произойдет на самом деле? Через несколько лет вместо этих милых мордашек вырастут выпяченные рыла, тела покроются густой щетиной и не успеешь оглянуться, как перед тобой окажутся две белых свиньи.

— Нет! Зачем ты наговариваешь на них? Их духи услышат твои слова! С чего ты взял, что они, когда вырастут, будут против нас! У них не такие родители. Ты слышал, как наш отец сказал, что они добрые! Или он не прав?

— Прав, — сказал Пит.

— Ты расстроил меня.

— Я ничего не имею против этих детей. Может быть, семя, занавшее сейчас в их душу, прорастет и они не все забудут.

— Я думаю о том, что ты прячешь под полом.

— Вот как! У каждого человека есть что скрывать от других, даже у тебя есть — верно?

Она отвернулась и мрачно уставилась в огонь, а он подошел к двери, тихо снял засов и выскользнул наружу.

Дети играли в ущелье под деревней среди причудливых фигур и складок, созданных водой и ветром на крутых глинистых берегах. Они построили здесь свою игрушечную деревню с хижинами и загонами для скота и вылепили человечков из гладкой красной и темно-голубой глины. Ряды фигурок уже сушились и твердели на солнце; волам, запряженным в плуг,



поставили настоящие рога из шипов белой акации. В этой «деревне» жили разные люди: отцы семейств, юноши и девушки, а также их родственники и возлюбленные. Марникс хромал. Он наступил на колючку, и Аннелиза полагала, вынимая ее, что кончик обломался и застрял в ступне. Он хныкал, взбираясь с помощью сестры вверх по откосу; Номсаса и Бхека следовали за ними.

— Розелина вытащит занозу, — успокаивала Марникса сестра.

Вдруг они заметили, что по дороге на ферму движется всадник на лошади, идущей спокойной иноходью. Дорога шла под уклон, через ложину, по грязной дамбе, насыпанной поверх засорившейся водопропускной трубы.

— Это баас де Бээр, бежим! — пронзительно крикнула черная девочка.

Бхека, не дожидаясь сигнала, прибавил шагу, но поскользнулся и покатился кувырком обратно на дно ущелья. Номсаса залезла в кусты, а остальные, игравшие внизу около своей глиняной деревушки, испугались и кинулись врассыпную. Марникс с Аннелизой остались одни: встревоженные немного, они не поддались панике и стояли на месте.

Всадник остановил лошадь.

— Гром и молния! Вы почему здесь? — воскликнул он на африкаанс.

Они плохо знали язык, но поняли его. Мужчина спрыгнул с лошади, взял поводья в руки и медленно подошел к ним. Острые темные глаза под черными бровями сверлили их. Неряшливая, небритая щетина на лице... Они немного отступили назад, крепко держась за руки.

— Не бойтесь, ребята. Я ваш добрый друг... Хороший дядя.

— Балэка! (Удирайте!) — крикнул кто-то из ребят сзади.

Аннелиза резко повернула брата кругом.

— Бежим скорее, Марникс! — Она тянула его изо всех сил.

Всадник бросил поводья и побежал за ними, прихватив с собой плетъ из носорожьей шкуры. Хромота мешала Марниксу бежать, и не успели они добраться до кустов, как он споткнулся и упал. Когда он поднялся и стал карабкаться дальше, незнакомец настиг его и схватил за руку.

Аннелиза подняла с земли камешек и кинулась на преследователя:

— Отпустите его. Отпустите!

Пока незнакомец заслонялся от ее ударов, Марникс укусил

его за руку, и тот невольно отпустил мальчика. Марникс пополз к краю ущелья и скрылся внизу. Он скатился почти до самого дна ущелья по крошащейся глине, потом встал и, хромая, пошел вдоль ручья. Дети увидели его и спрятали. Аннелиза вместе с Номсасой укрылись в кустах. Все были спасены.

Кхоки — глава семьи — стоял на скотном дворе у каменной ограды и смотрел на своих коров. Он не пересчитывал их, так как мог с первого взгляда определить, что они все на месте. Он знал всех животных, как собственных детей, — всю их родословную за много поколений. Небольшое стадо пригоняли сюда каждый вечер перед закатом и телят сразу заиhrали в отдельном стойле, чтобы коровы могли дать наутро молоко. Козы были в другом загоне, опоясанном поверх стсны проволокой и колючим кустарником. Кхоки смотрел, как его коровы мирно жуют свою жвачку, лежа на мягком сухом навозе. Солнце уже оставило долину, по еще освещало слабыми косыми лучами вершины холмов, посылая последнее тепло на деревню. У хижины Розелины сидели полукругом дети и ужинали, а сама она — вместе с младшей женой Кхоки — была в центре, у большого чугуного котла на треноге. Ложек не было, и дети чистыми розовыми пальчиками брали пригоршни каши, делали из нее катышки и затем отправляли в рот. Двое белых детей ели тем же способом; они вымыли лица и руки, прополоскали зубы у пруда, но одежда, голые ноги и волосы вобрали в себя всю дневную грязь, а на лице у Марникса, помимо солнечных ожогов, виднелась еще длинная царапина от гравия, по которому он прсеxался, скатываясь в ущелье... Дети старались вести себя чинно в присутствии взрослых, но все время шептались, приглушенно хихикая. Они были сильно взбудоражены дневным приключением с незнакомцем.

Тишину вечера вдруг нарушил шум нескольких моторов, и Кхоки первый увидел два автомобиля, которые приближались, подпрыгивая, по каменистой дороге, ведущей к ферме. Вместо того чтобы, как он ожидал, проехать мимо, они свернули по волокушной тропе к деревне. Впереди шел мощный полицейский автофургон с ветрозащитным козырьком и стальными сетками по бокам и сзади, а за ним следовал «джип» богатого фермера Преториуса, на земле которого жил Кхоки.

— Гляди, кто едет! — вскочил с земли один из подпасков. — Полиция!

Дети повскакивали со своих мест и с воплями разбежались в разные стороны. Одни бросились в хижину Розелины, другие со всех ног помчались в вельд. Розелина прижала Аннелизу и Марникса к себе и стала их успокаивать, но чувствовала, как они оба дрожат. Из полицейского фургона выбрались три полицейских в форме, а из «джипа» — сам Преториус, его восемнадцатилетний сын и их сосед, мелкий арендатор Преториуса — де Беер. Де Беер, небритый, с вытаращенными глазами, прижал шляпу к груди и заорал:

— Вот они, вот!

Кхоки с невозмутимым видом вышел им навстречу — приветствовать незваных гостей в своем доме.

— Отец, чем могу быть полезен? — сказал он молодому сержанту.

— Я получил сообщение, что здесь находятся двое белых детей.

— Они перед тобой. — Кхоки махнул рукой в сторону детей.

— Почему ты не известил меня об этом и что они здесь делают?

— Они гостят здесь с моей дочерью — их нянькой.

— Не валяй дурака, Кхоки, белые дети не станут жить у кафров.

— Отец, мне тяжело слышать обидное слово.

— Попридержи язык! — угрожающе заявил Преториус. — А не то попадешь в беду! — Он обернулся к сержанту: — Оставь его, Дольф, я с ним сам разберусь. Он всегда был скромным кафром. Забери детей.

Сержант направился к хижине, сопровождаемый остальными, и остановился в нескольких шагах от женщины и дрожащих детей.

— Что ты здесь делаешь, малышка? — спросил он Аннелизу. Та крепко сжала губы и молча уставилась на него. — Ты понимаешь меня?

Девочка кивнула.

— Тогда скажи мне, как ты сюда попала? Где твои родители?

Она тряхнула головой:

— Не скажу.

— Ну, вы слышали?! — возмутился де Беер. — Я говорил вам, менеер, что они голландцы. Скажите ей по-голландски.

Сержант продолжал задавать вопросы, но девочка упорно молчала, уставившись на него возмущенными голубыми глазами.

— У-у, сыроварово отродье! Упрямые как ослы! — Де Беер опять вытаращил глаза. — Вот он, который укусил меня... Погляди, что ты сделал! — Он вытянул руку, перевязанную окровавленной тряпичей. — Их нужно хорошенько высечь.

— Успокойся, де Беер, — сказал Преториус.

Тот сразу отскочил, будто ему дали пинка.

— Ты! — Сержант ткнул пальцем в сторону Розелины. — Объясни, что эти дети делают здесь и кто они такие?

— Ответ на вопрос, Розелина, — доброжелательным тоном сказал Преториус.

Женщина заплакала, а дети снова припали к ней, обняв ее за шею.

— Так не пойдет. Мы забираем их с собой, и в городе все выясним. Судья разберется, что к чему. Их нужно отправить в безопасное место!

По знаку начальника двое полицейских подошли к детям.

— Ну, малыши, пошли, мы отвезем вас туда, где вам будет хорошо.

Аннелиза и Марникс громко кричали, вырывались из рук полицейских и отчаянно цеплялись за платье Розелины.

— Спаси нас! Спаси нас! — умоляли оба.

Нянька раскачивалась всем телом и била себя кулаками по заплаканному лицу.

— Детки вы мои, что же теперь с вами будет?

Обоих — плачущих и брыкающихся — понесли на руках в полицейскую машину. В сгущавшейся темноте все, кто был в деревне — Кхоки и Пит, жены не вернувшихся еще с поля мужчин, старики и старухи, — стояли в ряд и молчаливыми взглядами провожали их...

В провинциальном центре Чёлмсфорде в тот же вечер состоялось неофициальное разбирательство — в помещении муниципального суда. Судья был также местным уполномоченным Комитета по охране детей, и он, по требованию полиции, постановил отправить детей в «безопасное место» — под опеку государства, другими словами — на попечение жены тюремного надзирателя, до тех пор, пока расследование не будет произведено до конца. Поскольку у этой женщины дома не оказалось свободной комнаты, она поместила детей в чистую, незанятую камеру предварительного заключения при полицейском участке, в которой стояли две железные койки, один стул, таз и кувшин

для умывания и жестяной ночной горшок, а на полу лежала циновка. Было уже около девяти, когда детей водворили в камеру. Оба — мальчик и девочка — были в истерическом состоянии.

У Марникса лицо посинело от непрерывного крика. Заключенные в соседних камерах недовольно барабанили в двери, стучали ногами и вместе с криками детей создавали страшный шум.

— Паппи<sup>1</sup>, боюсь я за них, позвал бы ты доктора, а? — сказала женщина своему мужу.

Тюремщик взял фонарь и пошел по затихшей улице к дому полицейского врача, которого и привез в своей машине.

— Они не могут здесь оставаться, — сказал он, посмотрев на детей. — Я возьму их к себе домой.

— Без разрешения нельзя, сэр.

— Дасте ли разрешение. А кто такая Розелина? Почему они все время зовут ее?

— Не знаю, сэр.

— Разыщите ее и приведите сюда с полицией. В этом ничего незаконного нет. А я пока побуду с ними.

Доктор присел на кровати и попытался улыбнуться этим, по его мнению, здоровым, но до крайности взвинченным детям.

— Все будет в порядке, Розелина сейчас приедет, — сказал он; их рыдания стали еще сильнее.

Когда явились полицейские с Розелиной, дети еще не спали. Обнявшись, они устало всхлипывали. Доктор подошел к двери камеры и впустил простую зулусскую женщину в синем платье.

— Розелина? Отлично! — сказал он.

— Ро-зе-ли-на! — завопила девочка. — Зачем ты нас оставила? — Она шатаясь пересекла камеру и упала в объятия женщины.

Розелина подхватила ее и прижала к груди. Они вместе сели на кровать, и нянька перевернула Марникса на спину. Но мальчик был слишком слаб, почти в беспамятстве, чтобы сразу узнать ее. Она взяла его на руки, погладила по голове, поцеловала.

— А-а-а... — замурлыкала она колыбельную, укачивая его. Доктор дал ей коробочку с пилюлями и стакан воды.

— Постарайся убедить его проглотить пилюлю, Розелина, я не смог.

---

<sup>1</sup> П а п п и — папочка.

Она приложила пилюлю к губам мальчика, он послушно проглотил ее, запив водой.

— Жизнь моя,— сказала ему Розелина по-голландски,— Розелина с тобой. Теперь все будет хорошо. Они больше не отнимут тебя.

Доктор закрыл свой саквояж.

— Розелину оставят с тобой,— утешала она ребенка, поглядывая на врача и ужасаясь при мысли, что ей этого не разрешат.

— Я сделаю все, что в моих силах,— сказал он,— чтобы вы были вместе. Мы не имеем права доводить детей до безумия. Но закон есть закон. Ты сама понимаешь.

— В чем мы виноваты?

— Это не в моей власти! Мои возможности ограничены. Я также подчиняюсь закону, как и ты. Как все.

— Закону?

— Да, закону.

— Розелина здесь, жизнь моя!..— продолжала она укачивать Марникса...

МОЙ ОТЕЦ ДЖОЗЕФ



Мой отец Джозеф всегда был для меня символом власти, неприступности и правосудия. Он ниспускался до меня лишь для того, чтобы учинить надо мной расправу ремнем или внушить мне нерушимые законы нравственности. Этот двухметровый гигант возвышался, как недостижимая башня, над страной моего детства, он воплощал в себе единственную реальную силу, которой я боялся, и был для меня непререкаемым авторитетом. Наверное, мне следовало бы любить его за это.

Однажды вечером он привез на тачке грубо сколоченную клетку с семью голубями, а на повозке привез собаку мне в подарок, затем он вырвал у меня обещание хорошо с ними обращаться, особенно подчеркнув, сколь велика моя ответственность за то, чтобы животные были ухожены, накормлены и ограждены от опасности.

Я был страшно взволнован. Вместе с отцом мы соорудили конуру для Рёвера (так мы называли собаку) и новую клетку, верх которой предназначался для голубей, а низ для кур — разводить их очень хотелось Ма Вилли, моей матери. Эта совместная работа сблизила нас, и, пока она продолжалась, он был вроде бы моим другом, к которому я мог даже притронуться, делая, правда, вид, что это прикосновение случайно. Когда же

с постройкой было покончено, он снова удалился в свою подоса-  
гаемую башню и опять стал символом власти. Я готовил пищу  
для собаки и голубей и терпел наказания, если нарушал точно  
составленный график.

Мне было больно, что отец вновь отделился от меня, и чув-  
ствовал себя закрепощенным своими питомцами, так как строгий  
график отнимал у меня все свободное время. Мои друзья сниском  
подавали мне сигналы, зазывая принять участие в их играх, но  
у меня была масса обязанностей по дому. Я должен был на-  
таскать воды из колонки, находившейся в пятидесяти метрах от  
дома, и наполнить два сорокалитровых бака, вымыть посуду,  
приготовить еду для собаки, присмотреть за младшим ребенком.  
Все это не позволяло мне вырваться на улицу к друзьям, и за-  
держивало дома почти до захода солнца. А с наступлением тем-  
ноты мне не разрешалось уходить со двора.

Рискуя получить порку, я, не слушаясь матери, удираю из  
дому, пренебрегал своими обязанностями и возвращался лишь за  
час до захода солнца. Тут я лихорадочно начинаю разводить  
огонь в жаровне, таскать воду, готовить для собаки пищу, мыть  
посуду и обычно часам к семи кое-как успеваю с делами. При  
таком напряженном распорядке у меня, естественно, почти не  
хватало времени делать школьные задания, и силы мои иссяка-  
ли. Я кое-как приспособлялся, но все мои усилия пошли пра-  
хом, когда однажды днем отец вернулся с работы раньше обы-  
чного. Я играл на Гуд-стрит и вдруг заметил грозную фигуру  
отца с кнутом в руке. Я тут же удраю в ближайший двор, пере-  
прыгнув через забор и ринулся домой напрямик через Голд-  
стрит и дальше по Виктория-роуд. Я предпочел, чтобы меня  
выпоролли дома.

Быстро погрузив на ручную тележку три огромных ведра, я  
поспешил к колонке за водой, по пути придумывая оправдания  
и извинения, которые смогли бы смягчить гнев отца. Когда я  
вернулся с первой порцией воды, отец сидел в комнате у кроват-  
ки заболевшей Ма Вилли, а моя сестра Сузан, видя, в какой я  
попал переплет, лихорадочно пыталась развести огонь в жа-  
ровне.

— Спасибо, Сузан, я все сделаю сам, — сказал я. — Он очень  
злой?

Но малышка Сузан была слишком перепугана, чтобы отве-  
тить мне вслух. Она лишь прикусила нижнюю губу и молча кив-  
нула. Я развел огонь и снова бросился за водой. Вернувшись, я  
разжег примус, вскипятил воду для чая, отнес чай родителям.

Отец молчал. Я нагрел еще воды, вымыл посуду. Сузан пила чай и одновременно вытирала тарелки. Пока готовился ужин, я запер кур в сарай. Ровер скулил в ожидании еды.

Я постучал в дверь.

— Отец, я уже почти все сделал, — сказал я со всей смирительностью. — Я подожду на кухне.

Он пришел минут десять спустя, запер дверь и выпорол меня кнутом так, чтобы я надолго это запомнил. Я вытерпел наказание без единого крика, только сильно плакал. А когда все кончилось, я вытер глаза и пошел в спальню убирать чайные чашки.

— Может, маме хочется еще чаю?

Она молча покачала головой. Я взглянул на отца.

— Нет, — отрезал он.

Я направился к двери.

— Он неплохой мальчик, — услышал я голос Ма Вилли, закрывая за собой дверь.

Эта фраза надолго врезалась мне в память, не давая покоя. Мне хотелось быть достойным ее, оправдать веру в меня и добиться того, чтобы вместо «неплохой» обо мне сказали «хороший». Когда мои друзья начинали хулиганить, я старался по возможности отойти от них и заняться поручениями отца, избегая драк на улице, всеми своими поступками силился доказать, что я «хороший мальчик». Но однажды днем во время зимних каникул я подрался с дядей Луи, самым сильным человеком на Голд-стрит.

Мы играли в шарики, и я выиграл у него все красивые разноцветные шарики, которые мы называли «стеклянные глазки». Тогда Луи вдруг потребовал, чтобы я вернул их, а у меня таких красивых никогда не бывало. Но с Луи шутки были плохи, он был самым большим задирой на пашей улице. Я собрал шарики в мешочек и вручил их ему. Однако едва он взялся за мешочек, как я вырвал его и со всех ног кинулся домой, он мчался за мной по пятам. Метрах в пяти от калитки нашего дома он все же настиг меня, и я плашмя упал на землю. Когда я поднялся, то увидел, что Ма Вилли на меня смотрит. Этого унижения я перенести не мог. Ринувшись на дядю Луи, я стал дубасить его кулаками. Он так удивился, что стал драться неуклюже, и, когда нас наконец разняли, мой выигрыш остался у меня.

Когда отцу рассказали о случившемся, глаза его засверкали гордостью. Мы стали сближаться, он все чаще обращался прямо ко мне, и весь его облик как-то изменился. Однажды он засту-

пился за меня, когда кто-то обидел меня у водопроводной колонки. Я вернулся домой и пожаловался на того человека. Мы тут же вместе пошли к колонке, а я еще прихватил с собой палку.

— Я согласен, что непослушных детей нужно наказывать,— сказал отец,— но мой сын говорит, что вел себя вежливо.

— Он врёт,— ответил незнакомец.

— Мой сын никогда не врёт,— подчеркивая каждое слово, возразил отец.— А если он и заслужил наказание, то наказывать его буду я.

Такая уверенность отца в моей честности наполнила меня гордостью и восторгом, но незнакомец обозвал меня лгуном, и за это я ударил его палкой. После второго удара я заметил у него кровь.

— Не делай этого,— сказал отец и отнял у меня палку.

Потом отец извинился за меня, а незнакомец извинился за причиненную мне обиду. В моем представлении отец сделался благородным. Наши отношения все укреплялись, казалось, он сильнее полюбил меня. Мы беседовали о моих школьных делах, о моем будущем, однако когда я заявил, что хочу стать врачом, его мысли сосредоточились на чем-то другом.

— Врач — это человек,— ответил он мне, как-то неестественно выделяя слово «человек».

Раньше он часто наказывал меня, но не столько за шалости, сколько за ложь, к которой я прибегал в отчаянной попытке избежать наказания. Чтобы понять это, мне потребовалось много времени. Меня редко наказывали, если я говорил правду. Тогда мы просто обсуждали мой проступок, и у меня оставалось лишь чувство стыда, а не вины. Отец исподволь внушал мне, сколь отлично чувство стыда от чувства вины, которое, по его мнению, было бесплодной, обращенной внутрь формой мучений, отвлекающих внимание человека от сути и тяжести содеянного. Чувство вины так захлестывает человека, что он забывает о самом проступке. Отец же старался сосредоточить мои мысли именно на проступке, вызвать во мне чувство стыда за содеянное, и тогда, стыдясь, я старался не повторять ошибок. Впоследствии именно чувство стыда руководило моими действиями, заставляя меня воздерживаться от оскорбления человека словом или действием.

Потом наступил момент, когда мир моих устойчивых представлений об отце внезапно рухнул, рассеяв в прах мои сыновьи чувства. Отец в моих глазах из гиганта превратился в карлика.

Проводилась облава для проверки пропусков. Два белых кон-

стебля вместе с подручными из африканцев требовали пропуска у всех африканцев-мужчин.

— Показывай пропуск, кафр, — потребовал констебль у дяди Джорджа, дальнего родственника отца. — Да поторапливайся, не целый же день нам тебя ждать.

«Нет, с моим отцом он так грубо не посмеет разговаривать, — подумал я с уверенностью, — ведь мой отец намного старше его».

— Ну, а тебя это что, не касается? Чего расселся? — заорал констебль на отца. — Предъявляй пропуск и квитанцию об уплате налогов.

Я был уничтожен. Отец внешне сохранял спокойствие, лицо его оставалось кротким, лишь в глазах появилась суровость. Он молча вытащил бумажник и протянул полицейскому документы — справку об освобождении от пропуска и квитанцию об уплате налогов за год. Но образ героя померк, рассыпался в прах. Я не мог смотреть на это, не мог понять, что произошло. Я ненавидел молодого констебля за то, что он так унизил моего отца. Несметный рой вопросов пронесся у меня в голове, мне хотелось знать, почему так случилось, и мне кажется, что я испытывал тогда негодование против отца и сомнение в его человеческом достоинстве. Я отвернулся и убежал в спальню, стремясь найти щель, куда бы мог заползти и спрятаться, сжавшись в комок от стыда.

Ограниченный тесным мирком устойчивых представлений о нравственном совершенстве, я жестоко осудил отца, применив к нему нормы, созданные мною в этом выдуманном, полном предрассудков мире. С этого момента мы потеряли друг друга, хотя отец по-своему и пытался вернуть себе сына. Но я был упрям и чудовищно несправедлив, и тогда отец снова превратился в воплощение власти и авторитета, авторитета, который я уже больше не уважал. Я начал бояться его, старался не попадаться ему на глаза и в конце концов стал видеть в нем не человека, а только олицетворение жестокости. Я стал ближе к Ма Вилли, и мы вчетвером — мать, я, Сузэн и Мэргарит — объединились против отца, связанные общим страхом перед ним. В этом маленьком враждебном ему мире он, вероятно, был самым одиноким на свете человеком. Я знал о нем совсем немного и никогда не пытался узнать, есть ли у него родители, братья, сестры. У меня были туманные сведения о том, что он родился где-то под Питерсбургом и что в Мёдигане у него живут какие-то родственники.

Однажды, когда Ма Вилли дала мне подзатыльник, отец пришел в бешенство и запустил в нее стулом. Увидев, как сжалась и в страхе отпрянула от него мать, я весь переполнился чувством отвращения к отцу и еще большей жалостью и привязанностью к матери, ставшей для нас единственным по-настоящему родным человеком. Мать возила нас с собой в город за покупками, следила за нашей одеждой, покупала нам школьную форму и учебники, отводила в первый день занятий в школу, помогала делать домашние задания...

Миновали годы, и как-то, поднимаясь по Тоби-стрит, я прошел мимо красивого дома, принадлежавшего семье Могéми. Они к тому времени еще не успели продать свою собственность Отделу по переселению жителей в другие места, но все вокруг уже было сровнено с землей. Лишь лютеранская церковь да немецкая миссия возвышались среди руин, а в ста метрах вверх по дороге красовался роскошный дом доктора Ксúма с двумя гаражами. Я повернул на юг по Эдвард-роуд и остановился на Бёрта-стрит. К востоку отсюда все было снесено и превращено, насколько хватал глаз, в пустыню из строительного мусора, в заброшенный, безлюдный край. И тут мне вдруг до боли захотелось, чтобы рядом оказался отец, чтобы я смог обратиться к нему за поддержкой, спросить, видит ли он, что сделали с нашим Софитауном. Но от отца остался лишь холмик земли с номером на кладбище Крез, этот номер я запомнил навсегда в тот день, когда мы его хоронили.

Он умер в полдень 16 февраля. Я был в это время в школе и не смог оказать ему помощи, когда он отчаянно в ней нуждался. Он жил, замкнувшись в себе, и умер тоже в полном одиночестве, когда его дети были в школе, а Ма Вилли уехала навестить родственников в Александру. Вскоре после большой перемены меня вызвали к директору школы. Мистер Накéни, руководитель школы при голландской реформатской миссии, что на Мёйер-стрит в Софитауне, уже ждал меня у двери класса. Я молча проследовал за ним до самой ограды.

— Твой отец болел? — наконец спросил мистер Накени.

— Нет, сэр, — ответил я, посчитав, что такой вопрос не стоит пропущенного урока по истории.

— Тебе все-таки лучше пойти домой.

— Сейчас, сэр?

— Да.

Я вернулся в класс, доложил учителю и собрал учебники. Домой я шел не торопясь, по пути играя в теннисный мяч. Возле

забора из рифленого железа, огораживавшего наш двор, собралась толпа. Я протиснулся вперед и увидел около калитки двух полицейских-африканцев и между ними человека в наручниках. Я ринулся во двор, и едва наша соседка Доротея заметила меня, как начала плакать и причитать, а потом взяла меня за руку и, стараясь как можно спокойнее и проще рассказать о случившемся, подвела к месту трагедии. Она же, рыдая и всхлипывая, сказала мне, что истерзанное и невероятно раздувшееся тело, чудовище, в котором едва можно было узнать человека, — мой отец. Вместо лица — бесформенная масса мяса и крови, ни носа, ни глаз не видно. Единственным признаком жизни была вздымавшаяся грудь. Он был совершенно неузнаваем, и я чувствовал лишь отвращение и жалость к этому безликому человеку. Он мог быть кем угодно, мой ужас от этого не стал бы меньшим, я весь содрогнулся от жестокости этой расправы. Я оглянулся на человека в наручниках, у которого хватило сил совершить такое. Он выглядел как и все остальные, в нем не было ничего, что могло бы хоть как-то отличить его от других, и я не испытывал гнева к нему.

Оказывается, между отцом и этим человеком произошла ссора, они разошлись, затаив злобу друг к другу, но потом отец поостыл и, думая, что тот тоже успокоился, зашел в угол нашего двора, где этот человек неожиданно налетел на него, ударил его в лицо, повалил на землю и долго бил кирпичом, пока отец не потерял сознание. Так, не приходя в себя, он и умер.

Я возвратился к забрызганному кровью месту, где продолжал лежать отец. Я смотрел на расprostертое тело, стараясь найти хоть что-то знакомое в этой массе, хоть что-нибудь, способное приблизить ко мне этого человека, какой-нибудь знак или метку, по которой можно было бы узнать его. Плакать я не мог. Мне хотелось броситься, упасть рядом с ним, но вдруг оказалось, что я не помню его лица и ничто не может напомнить мне его. За время бесконечно долгого ожидания «скорой помощи» я ни разу не заплакал, вернее, не мог заставить себя заплакать. И с тех пор, с четырнадцати лет, я никогда не плачу.

К смерти нельзя привыкнуть. Каждая смерть вызывает свою особую боль, и каждая такая боль убивает в нас маленькую частицу жизни. А мне так часто доводилось видеть смерть, что мне уже нечего было приносить ей в жертву. Боль смерти как бы скользит мимо моего сознания, но иногда передо мной встает кошмарное видение отца, я впадаю в состояние возбуждения, все тело начинает зудеть, и я раздираю его до крови...

Кто-то известил Ма Вилли о трагедии, и она, заслав в больницу, вернулась в свой дом уже вдовой.

— Мы брошены в пустыне,— сказала Ма Вилли на языке сесуто,— мы сироты, лишившиеся защиты.

— Да, мама.

— О боже, отныне мы в твоей власти,— продолжала причитать мать.— Мы твои чада и будем уповать на твою милость.

— Господи, помоги нам.

— Нужно сообщить родственникам, всем друзьям, надо разослать телеграммы. Договорись об отправке детей к Алексу. И тебе придется взять на себя организацию похорон. Сообщи в похоронное страховое общество, и они все сделают сами.

— Теперь ты единственный мужчина в этом доме,— сказал дядя Лёкоба.

И с того дня я, четырнадцатилетний мужчина, взвалил на себя все заботы о семье из четырех человек. С помощью родственников я вынес мебель из спальни и подготовил все для церемонии оплакивания. Я надел свои единственные брюки, купил свечи и еду для плакальщиков, им предстояло провести в комнате всю ночь, приготовил ужин и накормил детей и Ма Вилли, уже облачившуюся в традиционную траурную одежду.

Позже к матери пришли все ее сестры и братья, их взрослые дети, друзья, соседи и знакомые. Начался обряд поминовения над телом человека, который перешел в иной мир. Они все сели в круг и оставались в комнате целые сутки. Они пели заубойные псалмы, печальные песни народности тебелло, поминальные молитвы, которые большинство собравшихся знало наизусть. Эта смерть никого не привела в ужас, она лишь опечалила и наполнила их чувством жалости. Я принимал тех, кто приходил выразить нам сочувствие, и благодарил их за участие.

— Да, все это очень печально,— сказал один из пришедших.— Он был хорошим человеком, он не был злым и не заслужил такой смерти.

— Так умереть,— подхватил другой,— какая обида! Умереть, как животное! Помилуй его бог!

— Каждый умирает по-своему,— продолжал какой-то мужчина.— Но этот человек не заслужил такой смерти. Жизнь сыграла с ним злую шутку.

Люди все приходили и приходили, и каждый находил для меня доброе слово, каждый сокрушался о том, что жизнь зло посмеялась над моим отцом, и, поскольку жизнь не может пе-

переселиться в другое существо, для них было загадкой, почему отцу пришлось умереть, как собаке.

Видимо, эта неразрешимая тайна жизни волновала их больше, нежели сам факт смерти.

— Это плохое предзнаменование, — сказал кто-то, качая головой. — Это нехорошо, это предвещает беду.

— Клянусь истиной, это так, — подтвердила какая-то женщина.

— Бедный человек ушел к праотцам.

Они говорили на языках своих племен — *сотó*, *зулú*, *кóса*, — и большая часть их представлений и скрытое значение символов были мне непонятны. Я вежливыми жестами объяснял им, что должен помочь приготовить угощение. Мои двоюродные сестры и братья во дворе устроили угощение для приходивших помянуть отца. На жаровне в огромных чанах кипела вода, а рядом, на столе, стоял громадный чайник с часом, чашки и блюдца, лежало несколько буханок хлеба, масло, банки с домашним вареньем. Около десяти часов обнесли чаем первую группу людей.

Народу собиралось все больше и больше. Женщины приходили одни или в сопровождении мужей, сыновей, молодые девушки — парами или вместе с братьями и возлюбленными. На всех были черные платки или шали, черные одежды, на головах — шарфы или черные береты. Они пришли для того, чтобы, участвуя в поминальном обряде, выразить свое сочувствие осиротевшим родственникам. Мужчины вышли из комнаты, освободив место для женщин. Собралось так много желавших помянуть покойника перед погребением, что пришлось поставить скамейки и во дворе. Мои двоюродные сестры раздавали черные покрывала женщинам, не захватившим их с собой из дому, а мужчины, сидевшие вокруг жаровни, уступали место у огня женщинам, которые пели гимны, сидя на скамейках в холле. Я попросил Бетти, мою самую любимую двоюродную сестру, разжечь еще одну жаровню.

В ту ночь и в последующую неделю, пока шли поминки, я обнаружил, что у моих родителей очень много друзей. Соседи несли вещи, которые, как они думали, нам могут понадобиться: чашки и блюдца, скамейки и жаровни, огромные чайники, ложки и массу других предметов. От такого участия мне стало тепло на душе. Я был тронут этим духом содружества. Однако тетя Лётти, женщина старых взглядов, была, напротив, расстроена и обескуражена.

— Завтра все будут говорить, будто мы попрошайки, — сказала она. — Ты себе даже не представляешь, как люди умеют болтать.

Но мы же ничего не просили, тетя, — удивился я.

— Завтра же мы принесем наши собственные вещи от Алекса, — категорически заключила она.

Я очень удивился, заметив, что женщины, сидевшие на скамейках во дворе, пели гимны не заглядывая в псалтырь, они знали наизусть даже порядок, в котором следовало их петь. Лишь много позже я узнал истинную причину и смог объяснить тот факт, почему на похороны моего отца собралось такое огромное число людей. Но в тот момент я не понял скрытого смысла разговора, который случайно донесся до меня.

— Много собралось людей, — сказал один паренек.

— Хм, много.

— Ма Вилли охотно ходит на поминки.

Лишь потом мне стало ясно, что присутствовать при оплакивании и ходить на похороны — непереносимая общественная обязанность. Чем больше похорон посетит человек, тем больше сочувствующих он может ожидать, когда смерть явится в его дом. Немноголюдные похороны — проявление неуважения или даже презрения к покойнику, это позор для всей семьи. Поскольку в сознании живущих жизнь и смерть существуют вместе, к тому же смерть так близка для каждого, мы все находимся в состоянии готовности к смерти. У женщин в шкафу всегда наготове одежда для похорон, многие мужчины тоже имеют черные или темные костюмы. У нас приняты строгие поминальные обряды, и мы посещаем поминки так часто, что помним наизусть все псалмы.

— Можешь сейчас взять мое пожертвование? — спросил меня какой-то человек. — Завтра я уезжаю в Преторию. Я хочу расписаться в книге пожертвований, чтобы ты знал, что я тоже что-то внес.

— Мы благодарим вас, — ответил я. — Сейчас я принесу книгу.

Это был один из обрядов, связанных со смертью: люди отдавали, сколько могли, на погребальные расходы. Меня никто не предупредил, что нужно будет записывать фамилии рядом с суммой пожертвованных денег, и мне пришлось использовать для этого одну из школьных тетрадей.

— Вот книжка, дядя, — сказал я.

Около полуночи все мои двоюродные сестры под присмотром

тети Бетти стали обпосить собравшихся мансовой кашей с мясом, а потом снова подали чай. Угощение продолжалось всю ночь, пока длился поминальный обряд. К трем утра я уже страшно устал, но даже не мог и думать, чтобы хоть немного вздремнуть. Ведь я был мужчиной, выполнявшим ответственные обязанности, и мой уход мог быть воспринят как невежливость. Если уж незнакомые люди могут просидеть всю ночь в память о моем отце, то, как сыну, мне следовало еще усерднее выполнять свой долг.

Хотя смерть и раньше вторгалась в мою жизнь, например, когда умерла Ненси, моя жизнь по существу не менялась, и мне казалось, что смерть касается только других людей. Но теперь я осознал пустоту, которую эта смерть внесла в нашу жизнь. Мы стали скучать без нашего бедного, одинокого отца, он сделался для нас самым любимым человеком.

Похороны были большими, на таких я присутствовал впервые в жизни. По инструкции из морга нам было запрещено открыть гроб. И таким образом семья лишилась возможности, как это обычно принято, в последний раз взглянуть на покойного. Носильщики вынесли гроб из дома, потом со двора, поставили его на катафалк. Когда они проходили мимо меня, я заметил, что на гробе по ошибке кто-то написал: «Уильям Модисейн». Увидев свое имя вместо имени отца, я был глубоко потрясен, смущен и напуган. И тем не менее это было в какой-то мере символично. Формально — я умер, но позже мне еще предстояло это почувствовать.

Похороны глубоко потрясли меня, и хотя я претендовал на роль взрослого человека, стараясь принять соответствующий вид, напряжение было слишком сильным даже для выдавшего вида человека. Я ничем не опозорил себя, не уронил своего мужского достоинства, постарался сохранить самообладание и не расплакаться. А как мне хотелось перенестись куда-нибудь в другое место и там, став самим собой, ребенком, рыдать, захлебываясь в слезах. Во время обряда освящения могилы мне протянули совок с землей, и я понял, чего от меня ждут. Я должен был бросить горсть земли на гроб, но никак не мог заставить себя осыпать землей собственного отца. Мне все казалось, что это было бы знаком неуважения, осквернило бы весь обряд, как если бы я вымазал грязью бога предков.

Я не мог объяснить эти раздиравшие меня чувства человеку, протягивавшему мне совок. Тогда дядя зацепил моей рукой, словно инструментом, землю из совка, а потом, разжав мои паль-

цы, вытряхнул ее над гробом. Я зажмурил глаза, чтобы не видеть, что делает моя рука.

Когда после похорон все вернулись с кладбища домой, на улице возле калитки уже стояли две железные ванны с водой, и перед тем, как войти во двор, все по очереди вымыли руки. Это было обрядом очищения или омовения, означавшим, что люди смыли смерть со своих рук. День похорон совпал с началом убоя скота и пирами, связанными с этим праздником, который на этот раз как бы отмечал неизбежность смерти.

ГОРОЖАНИН



ослышались какие-то странные новые звуки в гроыхании поезда, когда он въехал на мост через реку Вааль, и это вывело Чалу из состояния глубокой задумчивости. Он рывком сел и уставился в открытое окно на бескрайнюю гладь воды, простиравшуюся вниз.

Наконец хоть что-то вызвало у него интерес. Со вчерашнего вечера за окном тянулся выжженный солнцем вельд, однообразие которого прерывалось лишь короткими остановками на станциях.

Чала вновь обратился с вопросом к городскому мальчику, сидевшему напротив него:

— Это что за река?

— Это Вааль, — ответил мальчик. И немного спустя добавил, явно подчеркивая свое превосходство: — Вторая крупнейшая река Южной Африки.

— Ммм, — промычал Чала, всем своим видом выражая неподдельное восхищение попутчиком и зависть к нему.

Городской мальчик был одет с иголочки, ботинки начищены до блеска, волосы старательно приглажены. Этот парень прямо-таки светился уверенностью в себе.

Чала оглядел свою потрепанную одежду. Кое-что перешло к

нему от его бывших хозяев, некоторые вещи он купил поношенными у других ребят. «Ничего, — подумал он, — теперь уж скоро и я стану таким же горожанином, как он».

Горожанин. Два года назад Чала уехал из крааля<sup>1</sup>, разместившегося в глубине гор Малүти в протекторате Басутоленд<sup>2</sup>. Он хотел стать деревенским жителем. Но это только задержало его в протекторате — деревня оказалась лишь небольшим центром, вся деятельность которого ограничивалась снабжением двух факторий. Он работал на бааса одной из факторий и познакомился с образом жизни белого человека. Кругозор его быстро расширился.

Прожив посемь месяцев в этом небольшом поселке, Чала пересек границу Южно-Африканской Республики и оказался в маленьком городке, разместившемся по обе стороны реки Каледон, где и начал работать подручным повара, а потом — поваром.

Однажды Чала повстречался с одним пареньком, возвратившимся после работы на шахте, и тот рассказал ему об удивительной жизни большого города. И вот теперь наконец-то самая страстная мечта Чалы начинала сбываться, потому что колеса поезда неуклонно несли его к великому Йоганнесбургу.

Нервным движением Чала тронул боковой карман брюк. Его деньги — три фунта стерлингов, — их никак нельзя потерять.

Остальные пассажиры купе, пятеро ярко одетых парней, завербовавшихся на шахту, продолжали без умолку болтать на языке сесуто. Чала не обращал на них никакого внимания: ведь они ничему не могли его научить. И все-таки именно из-за них он мысленно возвратился в свой родной крааль, к моменту, когда и сам чуть было не попался на уговоры вербовщика с шахты. Но в то время он был первым танцором в краале и поэтому не хотел и думать об отъезде. Да это и к лучшему, так как теперь он уже научился готовить для белых, а именно поваром он и собирался работать в Йоганнесбурге. «Нет, — думал он, — копаться в земле — это не для меня».

В наступавших сумерках поезд продолжал с ревом мчаться вперед.

Теперь уже было на что смотреть: заводы, фабрики, плантации. Вскоре показался один из сотен терриконов, со всех сторон окружавших Йоганнесбург. За ним второй, третий.

---

<sup>1</sup> Крааль — здесь: огороженный поселок для цветного населения.

<sup>2</sup> Басутоленд — бывш. протекторат Великобритании; с 1966 г. — независимое государство Лесото.

Чала некоторое время с любопытством разглядывал их. Потом пробормотал про себя что-то вроде «ага!» и снова заговорил с мальчиком, сидевшим напротив:

— А что это такое, похожее на горы?

— Это терриконы, — коротко ответил тот.

— Терриконы? — переспросил Чала и нахмурился. А что это такое?

Мальчик вздохнул, явно выведенный из себя таким невежеством.

— Это земля, которую белые люди извлекают из шахт после того, как добудут из нее золото, — объяснил он.

— О! — протянул Чала, обдумывая услышанное, и, все еще озадаченный, спросил: — А как же они добывают золото из земли?

— С помощью пауки, конечно!

Но Чала не удовлетворился таким ответом.

— А что это за наука? — не унимался он.

— Наука и есть наука! — почти крикнул мальчик, больше не способный заниматься разъяснениями. — До чего же ты темный! — не удержался он. — Почему ты задаешь мне глупые вопросы?

Чала, хотя ничего и не понял, все же счел неразумным настаивать на дальнейших расспросах.

Еще терриконы, и шахты, и какие-то вращающиеся колеса. Чале было очень интересно узнать, что это такое, но он больше не осмеливался задавать вопросы своему спутнику.

А вскоре огни, множество огней, неожиданно засверкали в сгущавшейся темноте. Поезд приближался к пригороду, где уже ходили электрички. Чала невольно покрепче ухватился за сиденье, его страшно напугали эти электрички, так неожиданно промчавшиеся за окном.

Они въехали в город. Здесь горели и вспыхивали тысячи разноцветных огней. Чала как замороженный прильнул к окну. Никогда ему, черному мальчику, и не снились подобные чудеса!

Вскоре показался вокзал, поезд сбавил скорость. Потом за скрипели тормоза, локомотив с шипением вздохнул и остановился.

Чала вглядывался в переполненную людьми платформу.

«Парк-стейшн. Иоганнесбург», — прочитал он на огромном указателе.

— Это и есть Иоганнесбург? — невольно спросил он.

Ничего не ответив, лишь презрительно хмыкнув, городской

мальчик взялся за ручку своего новенького чемодана и быстро вышел из купе. Чала залился краской под темной кожей.

Представители шахт встречали завербованных рабочих, все возбужденно разговаривали. Чалу никто не встречал.

Еще долго-долго житель вельда стоял на платформе, сбитый с толку, и паблюдад за суматохой и сутолокой. Наконец он взял себя в руки. Вперед, парень, сказал он себе, нужно прежде всего найти место для ночлега. Софитаун! Он вспомнил, что именно туда ему советовали поехать. В проходе под аркой — видимо, это был выход с вокзала — Чала увидел полицейского-туземца и, поборов смущение, подошел к нему.

— Простите, сэр, — начал он, словно оправдываясь. — Мне нужно добраться до Софитауна. Пожалуйста, скажите, как мне туда проехать?

Полицейский несколько раз смерил его взглядом с головы до ног.

— По этому переходу пройдешь вниз. Понятно?

— Да, — ответил Чала, слегка недоумевая.

— Прекрасно, — продолжал полицейский, — когда выйдешь из здания вокзала, повернешь налево и пойдешь дальше до площади. Там тебе кто-нибудь скажет, на каком автобусе досехать до Софитауна.

— Понятно, — сказал Чала. — Большое спасибо.

Элоф-стрит. На минуту Чала остановился у входа в вокзал, разглядывая оживленную улицу. Его привели в восхищение неоновые рекламы, испугал круговорот толпы и рев проносившихся мимо машин, а огромные высокие здания, устремленные в небо, внушали благоговейный страх. Он увидел белого констебля и, испытывая безотчетный страх, быстро пошел вперед.

Нужно идти налево, вспомнил Чала слова черного полицейского, и свернул налево, таща на плече узелок с пожитками.

Вскоре он дошел до площади и в нерешительности остановился. Боясь обратиться к белым прохожим, он решил подождать, пока не появится его соплеменник. Наконец он увидел молодого парня, одетого почти так же, как его попутчик по поезду. Чала робко подошел к нему:

— Простите, где мне сесть на автобус до Софитауна?

Не удостоив его ответом, парень небрежным жестом руки показал на противоположный угол площади и пошел дальше. Чала с растерянным видом поглядел ему вслед, потом пересек площадь и подошел к автобусной остановке. Здесь он увидел целую толпу черных африканцев, большинство мужчин были одеты

опрятно, а многие девушки даже чересчур ярко. Набравшись храбрости, Чала подошел к одному из мужчин.

— Скажите, пожалуйста, здесь садятся на автобус до Софитауна? — спросил он.

Тот, подобно полицейскому на вокзале, оглядел его с ног до головы. Девушка с намаженными волосами хихикнула. Чала готов был провалиться сквозь землю.

Незнакомец промычал что-то невнятное, кивнул головой и отвернулся.

Поездка на автобусе оказалась не из приятных. Всю дорогу Чале пришлось стоять. Некуда было деться от запаха резких дешевых духов. К тому же девушка, которой он наступил на ногу, взглянула на него с уничтожающим презрением.

Огорченный и разочарованный, добрался наконец Чала до Софитауна. Здесь его окружали свои люди, но он чувствовал себя среди них чужим. Однако он уже спрашивал, сколько стоит новый костюм и всегда ли придется носить воротничок и галстук, если он останется в Иоганнесбурге. До чего же все здесь отличается от деревни и даже городка, подумал Чала и начал уже сожалеть, что приехал сюда.

Но настоящие трудности были еще впереди.

Чала, к своему огорчению, обнаружил, что этот Софитаун — самое мрачное место из всех, которые доводилось видеть. Конечно уж, думал он, в краале и даже локациях, где он чувствовал себя счастливым, было куда лучше! Уличного освещения здесь почти не было; в сущности, не было и настоящих улиц — только неровные, узкие проходы между ужасающими лачугами и пристройками, служившими жильем для обитателей этого предместья. Отвратительная вонь нависла надо всем.

Чала брел по какому-то узкому переулку в тусклом свете свечей и керосиновых ламп, пробивавшемся сквозь окна и открытые двери. Он остановился у кирпичного дома, вроде бы почище других, и постучал. Ему открыла женщина, с испугом взглянула на него и тут же перед самым его носом захлопнула дверь. Чала в смятении покачал головой.

Чала уныло тащился дальше. Навстречу ему прошли один за другим двое мужчин, он спросил у каждого, где можно найти ночлег. Оба резко ответили, что ему необычайно повезет, если он чего-нибудь отыщет. При этом они язвительно спросили, каким он располагает капиталом. Странно все это, думал Чала.

Несмотря на усталость, он упорно продолжал брести. Но вдруг, уже вконец отчаявшись, он наткнулся на какой-то дом,

который, вероятно, был самым большим и внушительным во всем Софитауне. Из дома неслись резкие звуки джаза.

Чала невольно улыбнулся, впервые с тех пор, как покинул вагон. Сомнения и страхи отодвинулись на задний план. Ритмичная музыка — вот наконец то, в чем он разбирается. Чала ускорил шаг, словно с ног его сняли колодки, и остановился у открытой двери. Он даже рот раскрыл от восхищения не столько танцорами, самозабвенно отдавшимися во власть танца, сколько потрясающим оркестром. Этой мелодии он раньше никогда не слышал, а этих инструментов никогда не видел. Саксофон, контрабас, гитара со стальными струнами — новые для Чалы звуки завораживали его.

Удары барабана были ему, конечно, знакомы, ритм тоже. Невольно черный мальчик стал пристукивать в такт ногой, а потом и подергивать плечами.

Чей-то голос заставил его вздрогнуть. В дверях появился швейцар.

— Здесь нельзя стоять, — властно скомандовал он, подозрительно оглядывая Чалу. — Входи или отправляйся прочь.

В растерянности Чала насупился.

— Это вы мне? — спросил он, будто не расслышав. — Мне можно войти?

Швейцар усмехнулся.

— Конечно, если у тебя есть два шиллинга.

Чала порылся в кармане и вытащил серебряные монетки. Ему вручили грязный билет, и он застенчиво вошел в зал. Швейцар посмотрел на его котомку, но ничего не сказал.

Довольно долго, пока играли целых два танца, Чала стоял у стены, положив рядом на пол свой узелок. Он боялся, что на него обратят внимание, но упивался музыкой. Вдруг музыка прекратилась. Распорядитель в черном вечернем костюме взобрался на ярко разукрашенную эстраду и повелительным жестом поднял руки. Раздалась барабанная дробь.

— Внимание, внимание! — закричал он. — Сейчас мы подошли к самому главному номеру нашего вечера! Сейчас джаз исполнит ритмы джунглей! Вы опять в своем краале! Тряситесь, топайте, крутитесь, вертитесь и раскачивайтесь, друзья мои! Поехали!

Последние его слова потонули в общем вопле восторга.

Чала стоял ошеломленный, разинув рот.

Джаз заиграл медленно. Потом быстрее... быстрее... еще быстрее! Вскоре весь зал превратился в толпу сумасшедших

людей. Пыль поднялась столбом. Танцоры старались превзойти друг друга в бесконечном разнообразии безумных телодвижений. Все громче становился бой барабанов, все более буйным и необузданным становился танец. Чала казалось, что теперь он узнает эту музыку.

Сперва Чала нерешительно шагнул в толпу. Забыт его узелок с пожитками. Забыто смущение. Все затмила непреодолимая потребность двигаться под эту трепетную пульсирующую музыку. И он целиком отдался ей, отдался этому сумасшедшему, дикому, замысловатому ритму, с которым в его краале справлялся только он один. Чала танцевал в экстазе, пот заливал лицо, но он отрешился от всего, кроме этой ритмичной, ослепительной музыки.

Вдруг Чала почувствовал, что он танцует один, и остановился. К своему удивлению, он увидел, что окружен тесной толпой, в восторге аплодирующей ему. В волнении Чала поспешил к своему узелку, но чья-то рука удержала его.

— Постой-ка, дружище! — услышал он громкий голос.

Чала обернулся. Это был распорядитель. Он немного помедлил, желая убедиться, что танцор никуда не сбегит. Потом быстро прошел к эстраде.

Барабаны снова забили дробь.

— Внимание, внимание! — крикнул он. — Сегодня среди нас незнакомец! Мы не спрашиваем, как его зовут или из какого он племени. Но мы видим, что он первоклассный танцор, и просим его исполнить соло!

Все зааплодировали. Распорядитель улыбнулся и сделал поклон в сторону ошеломленного Чалы. Толпа отодвинулась к стенам.

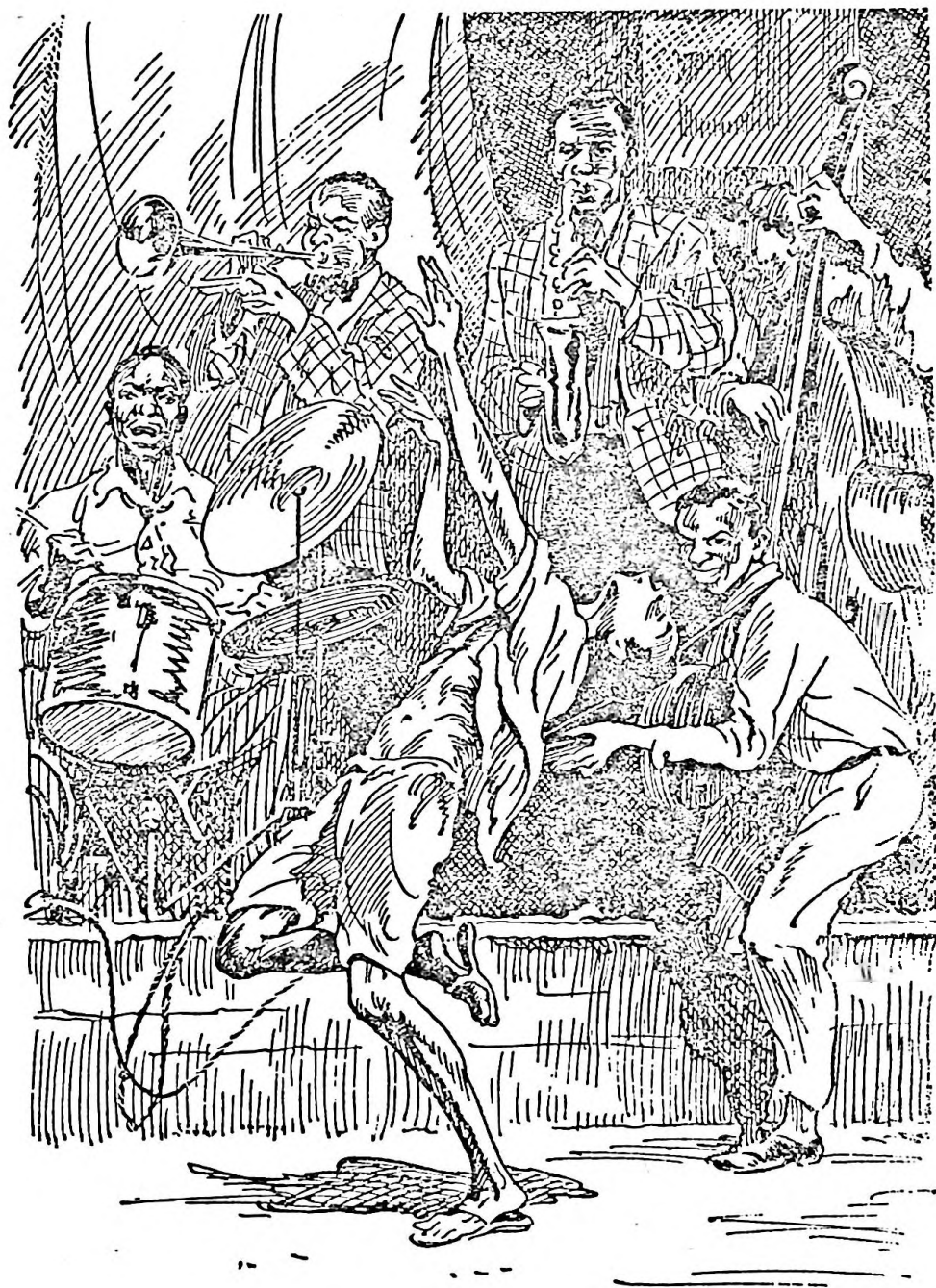
На мгновение Чала остолебенел, ноги будто приросли к полу. Но вот снова заиграл джаз.

— Давай, давай, не дрейфь! — ласково шепнул ему кто-то на ухо.

Чала пошел нерешительно, но потом быстро обрел уверенность. И снова весь отдался ритму танца. Он кружился, притоптывал, тряся, как никогда прежде. Эта музыка пробудила в нем лучшее, на что он был способен. Никто не существовал для него в эти минуты.

Вдруг музыка смолкла. Раздались оглушительные аплодисменты. Чала опять смутился, доверчиво и благодарно улыбнулся и отошел к своим вещам. Джаз заиграл танго.

Приятный, скромно одетый паренек подошел к Чале.



— Ты, видно, только что приехал в Иоганнесбург? — спросил он.

— Да, сегодня вечером, — ответил Чалы вытирая со лба пот.

— Мм, — протянул паренек. — А у тебя есть где переночевать?

Глаза Чалы засветились надеждой.

— Нет, пока что нет, — быстро ответил он.

Незнакомец покровительственно похлопал его по плечу.

— Ну, ничего, — сказал он, — сегодня ты переночуешь у меня.

Позже, много позже в тот вечер, усталый, но счастливый, Чала лежал на удобном матрасе на полу в пристройке своего нового друга. Неподалеку пристроился и сам хозяин. Они уже обо всем переговорили и пожелали друг другу спокойной ночи. Но потом Чале захотелось еще поговорить.

— Тебе вставать когда?

— Мм, — прозвучало в ответ.

— А этот Иоганнесбург, — задумчиво произнес Чала, — хороший город, да?

— Спрашиваешь! — отозвался его друг. — Мировой!

— Вот как? — сказал Чала, — Думаю, мне тоже понравится этот Иоганнесбург.

КОСТЮМ ДЛЯ КОНЦЕРТА



собирался на певческий конкурс. Всем мальчикам и девочкам нашей округи велено было явиться в своих лучших костюмах.

Разумеется, не в каких-то необыкновенных, а просто в приличных. Где их взять — это уж наше дело. Больше всего я недоволен галстук, но именно на нем и настаивал мой отец, полагая это непременною принадлежностью праздничного наряда. Я же всегда задыхался, чувствуя у себя на шее эту змею. Мать постоянно бранила меня за то, что я не похож на других детей, которые, отправляясь в церковь или на такой вот конкурс, надевают красивые куртки и повязывают галстуки.

Для обитателей нашей трущобы ухитриться одеть своих детей, участвующих в соревновании, в приличный костюм с галстуком — дело чести. Ибо внешний вид, по их мнению, влияет на оценку комиссии. А голос и манера исполнения кажутся им, по-видимому, делом второстепенным. Мы же, ребята, промеж себя считали, что это такая же ерунда, как выдумка белых, будто у африканца приятная улыбка потому, что зубы красивые.

Жюри конкурса состояло из одних белых, и нас уверяли, что все они большие знатоки музыки.

— Постарайся сегодня сыграть получше, — наставляла меня

мать, пока я, изю всех сил изображая послушного сына, старательно мыл тарелки.

— Но, мама, ты же знаешь, как я пою дома, — ответил я.

— Знаю, но сегодня особенный день. Ты слышал, что Рра-Дикеледи<sup>1</sup> собирается тебе купить костюм и галстук к нему.

— Ну и что, разве в новом костюме я буду петь лучше? Дело ведь не в этом, — попытался я возразить ей.

— Не дерзи! — оборвала мать. — Ох уж эти нынешние дети, совсем не умеют себя вести! Разговаривают со старшими, как им вздумается...

Был субботний день. В соседнем дворе громко жаловались петухи и куры — видно, проголодались. Сойто, наш сосед, вышел из своей лачуги с миской и принялся разбрасывать зерно. Скликая кур, он смешно подражал их кудахтанью. Они ринулись к нему, налетая друг на друга.

Мать, подболевшись, стояла в дверях в длинном ярко-коричневом платье из набивной ткани, оно хлопало ее по ногам, когда она махала проходящим соседкам. Она смотрела на тучи, которые все утро скапливались на небе и готовы были разразиться грозой. От земли шел резкий запах влажной пыли. Я старательно тер кастрюлю мокрым песком, она становилась заметно чище.

Сойто продолжал выкрикивать свое «цып-цып-цып», потом на минуту остановился, повернулся в мою сторону и дребезжащим, старческим голосом сказал:

— Надеюсь, па этот раз победишь ты...

Я с нетерпением ждал отца. Ведь в субботу он мог и задержаться — встретить по пути друзей, поболтать о том о сем, а то и заглянуть к кому-нибудь из них, чтобы выпить глоток домашнего пива.

Был он высоким, статным, красивым мужчиной. И мы любили его, хотя и побаивались: рука у него была тяжелая. Если я баловался и мать грозилась пожаловаться отцу, я знал, что он меня так выпорот, что я уже не в состоянии буду молить о помощи. Отец был строг. И еще он был смелым. Однажды он защитил нас от пьяных хулиганов, которые ломились к нам в дом. Отец избил их кнутом до полусмерти. И в то же время он был добрым и веселым. Он часто рассказывал мне восхититель-

---

<sup>1</sup> Рра-Дикеледи (букв. «отец слёз») — обращение к отцу или к матери (Мма-Дикеледи). Так называют родителей в соответствии с именем первого ребенка.

ные истории из своей жизни. Как-то, возвращаясь ночью с работы, отец проезжал на велосипеде через кладбище. Вдруг перед ним выросла странная фигура. Незнакомец попросил разменять деньги. У отца не было с собой денег, и тогда этот человек — надо думать, привидение — сказал: «Очень жаль, очень... Те деньги, которые я много лет тому назад взял с собой в могилу, теперь уже не годятся и надо бы их поменять».

И привидение растаяло в темноте...

На другом конце поселка слышались голоса, лай собак, шум и крики играющих детей. За стеной нашей хибары из рифленого железа раздался скрежещущий звук, будто провели металлом по металлу.

Это отец прислонил свой велосипед к стене. Мама готовила ужин.

— Поторопись, сынок, — сказал отец, — не то закроется магазин.

— А какой костюм мы купим? — спросил я.

— А вот посмотрим! — ответил он весело. — Мы скоро вернемся, времени осталось совсем мало, — сказал он матери и, сняв пиджак, вышел со мной из дому.

На Бэрбер-стрит было полным-полно ребят, моих сверстников. Одни играли в хоп-скотч, самоотверженно поддавая плоский камень босыми ногами; другие в бейсбол, не соблюдая никаких правил; «футболисты» гоняли теннисный мяч. У витрины магазина сидело несколько подростков постарше. Они без конца перешептывались и время от времени раздражались громким хохотом, не забывая зорко следить за дорогой. В любой момент могла налететь квела-квела («залезай-ка») — полицейская машина, — чтобы проверить пропуска или ворваться в какой-нибудь дом, хозяин которого заподозрен в незаконной торговле спиртным.

Хозяин магазина, индеец Абдүл, сидел у входа на корточках, зажав полы своего белого балахона между колен. На голове у него красовалась феска. Он, как всегда, непрерывно жевал свою красную жвачку, сплевывая оранжевую слюну, и громко приветствовал входящих и выходящих покупателей.

— Заходи, мама, заходи, папа! — кричал он.

На стене магазина висело объявление: «Купите костюм, получите в придачу два». (Обычно сшитые из скверной ткани, а может быть, просто фабричный брак.)

Вдруг я почувствовал, как рука отца крепче сжала мою руку.

Я взглянул на него и увидел, что лицо его как-то сразу помрачнело, глаза взволнованно заблестели. Мы были уже совсем близко от магазина.

Я знал, что отец мой — честный человек. За всю свою жизнь он ни разу не взял чужого. Он был справедливым и бесстрашным. Таким, как сейчас, я его еще не видел. Несколько раз я невольно подслушал, как его друзья не то в шутку, не то всерьез выговаривали ему за чрезмерную честность по отношению к бедным. Те ведь никогда не заплатят по справедливости, чтобы можно было прокормить семью. И все-таки он ни разу не прихватил у них и безделницы, чтобы пополнить свои доходы.

Отец неизменно отвечал друзьям, что воровство — штука скверная, что оно от дьявола и тому, кто ворует, не миновать ада. Меня же он предостерегал: «Будешь обманывать или воровать — гореть тебе на вечном огне. А черт большой длинной вилкой переворачивает тех, кто грешил на земле».

Я слушал отца, замирая от страха. Я любил отца. В моих глазах это был человек, пренеполненный чувства собственного достоинства. Было мне в то время десять лет. Иной раз мать посылала меня отнести угощение отцу и его друзьям. Усевшись в тени дерева, я любил слушать их долгие беседы. Я замечал, что они разговаривают друг с другом искренне и уважительно. Отец несколько раз повторял друзьям, что конит деньги мне на костюм к предстоящему конкурсу. Понадобилось почти восемь месяцев, чтобы собрать нужную сумму, и вот сейчас мы наконец уже подходили к магазину...

Отец сжимал мою руку все сильнее и сильнее, так что мне стало больно. Я попытался высвободиться, но он не заметил этого. Я почувствовал, как вспотела его ладонь. У отца на лбу тоже выступили капельки пота. Холодного пота. Глаза его опять тревожно забегали. Что с ним? Спросить я боялся.

— Заходи, мама, заходи, папа! — услышал я как будто издалека голос Абдула.

— Еееееу, ли-ли-ли-ли, сеу! — раздался где-то визгливый, завывающий женский голос.

Видимо, женщина выкрикивала добрые пожелания молодоженам. Потом звук ее голоса начал слабеть и совсем затих. Должно быть, она в этот момент стала, как того требует обычай, танцевать перед молодой парой, входившей в свой новый дом.

Отец ускорил шаг. Но тут между нами и магазином внезапно затормозила полицейская машина, и из нее выскочили два белых полицейских. От одного вида их черной формы с медными



пуговицами и блестящими значками у меня по спине побежали мурашки.

— Эй, кафр, пропуск, — приказал полицейский.

Отец стал шарить в карманах со слабой надеждой найти пропуск. Полицейский нетерпеливо ткнул его дубинкой в ребро.

— Побейте, не тая время! — заорал он, мигом теряя терпение.

— Я живу вон там, баас, — сказал отец, показывая в сторону нашего дома, до которого не было и двух минут ходьбы. — Я могу послать за ним мальчика.

— Заткнись, ленивый кафр, не ври! Где украл деньги? — заорал второй полицейский, уже успев обшарить карманы отца.

Каким беспомощным и жалким казался отец перед этими людьми!

— Я не украл их, баас.

— Опять врешь! Ни один кафр не может заработать столько денег.

— Я скопил их, баас, чтобы купить сыну костюм для...

Его слова заглушил взрыв смеха.

— Нет, ты слышал что-либо подобное, Герт? — сказал один из них с издевкой. — Он собирался купить костюм для своего черномазого! Он, наверно, из тех наглецов, которые воображают, будто они не хуже белых! Ему, видишь ли, подай костюм, да еще с галстуком!

Одним духом я добежал до дому и кинулся к матери — пусть побыстрее даст мне пропуск, чтобы успеть отнести его отцу. Она стала искать его в пиджаке, висевшем на гвозде. Потрясенные тараканы ринулись из-под пиджака в разные стороны. Вот он, пропуск! Я помчался обратно. Но там уже никого не было. Что делать? Бежать назад? Плакать? Искать? Умолять? Но ко-го? Мне хотелось хоть что-нибудь сделать для него.

Я вспомнил, как изменилось лицо отца, как холодный пот проступил у него на лбу, вспомнил, как исчезло все его достоинство, как он смертельно испугался... И я понуро поплелся домой.

Девять месяцев спустя мы с матерью сидели у его постели. Мать плакала, а я не отрываясь смотрел на него. Лицо отца было пенельно-серым, глаза потускнели. Со лба скатывались капли холодного пота. Отец задыхался, губы его дрожали. Он пытался что-то сказать, но слабый голос доносил до нас лишь какие-то

бессвязные звуки. Вдруг его стал душить кашель, такой сильный, что задрожали рифленые стены нашей лачуги.

— Хочешь воды? — спросила мать, перестав на минуту всхлипывать.

Молчание.

Потом он тяжело вздохнул и снова что-то проговорил. Мы ничего не поняли.

— Рра-Дикеледи, — обратилась к нему мама, употребив типичное африканское выражение.

Снова молчание.

Отец был покрыт одеялом до груди, плечи оставались обнаженными. Пот поблескивал у него на лбу, словно капельки росы на лепестках цветов. Глаза блуждали по стенам нашей лачуги. И вдруг я отчетливо услышал:

— Т-ты... п-п-пел?

— Да, папа.

Я собрался было рассказать ему о том, что пережил тогда на конкурсе, но мать остановила меня.

— Трудно... было... па ферме... Работа... каторга... Голодали...

Мать заплакала громче. Гнетущая тоска повисла в комнате. Я в отчаянии кусал ногти. Он не отрываясь смотрел на стену, где рядом с его пиджаком висел на гвозде мой костюм.

Я никак не мог отвязаться от нелепой мысли: лежит ли пропуск у него в кармане и собрались ли снова тараканы под пиджаком?..

— Папа, я принес тогда тебе пропуск, но тебя уже там не было, — сказал я робко.

Я подвел отца. Не выручил. Не сумел спасти. Сознание вины терзало меня, как кошмар. Вид отца преследует меня до сих пор.

Мать послала меня за водой. Колонка находилась на другом конце квартала. Здесь брали воду все жители близлежащих улиц. Женщины с огромными ведрами вытянулись в длинную цепочку.

Наконец подошла и моя очередь.

Когда я вернулся домой, мать стояла у кровати отца, в отчаянии ломая руки. Отец неподвижно лежал на кровати. Глаза его остановились. В комнате стояла мертвая тишина. Он больше не кашлял. Губы были приоткрыты.

С улицы через окно долетал пронзительный голос Абдула, зазывающего покупателей: «Заходи, мама, заходи, папа! Купи

костюм, получишь в придачу два!» Я уверен, что он до сих пор жует свою красную жвачку, сплевывая на улицу.

На похоронах мать все время держала меня за руку. Она сжимала мою ладонь, но не так сильно, как отец тогда. Она то и дело вытирала слезы. Я же не чувствовал ничего. Пустота... Я смотрел на опускающийся в яму гроб и думал: остались ли еще капли холодного пота на лбу отца?

На мне был новый, очень красивый костюм. Мма-Дикеледи спросила, почему я стою, опустив голову. На что это я смотрю?

— На мой концертный костюм, — ответил я.

## КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК



**Т**ам, где сходились четыре пыльные дороги, стоял столб с перекрещенными указателями ближайших крупных населенных пунктов: Кётмансхоп... Карас... Спрингбок... Пофаддер...

«127... 81... 195... 174 мили», — прочитал ожидавший попутной машины человек с большим тяжелым рюкзаком за плечами. Немного постояв, он подкинул повыше свою пошу и зашагал дальше, вдоль колен; оставленной колесами машины на красной песчаной земле. Человек шел на юг по негостеприимной пустыне к темно-красным берегам реки Оранжевой, первой непересыхающей летом реки на всем его пятисотмильном пути.

Он прошел через деревушку, дома которой, как бы размытые дрожащим маревом жары, беспорядочно сгрудились у подножия покрытого колючим кустарником холма, мимо телеграфных столбов, ветряных мельниц и нескольких деревьев, казавшихся случайными на этой совершенно голой земле. Деревушка выглядела такой же временной, как оживающие всего лишь на миг горькие колючие растения пустыни, к которым устремляются стада животных, едва на горизонте сверкнет зарница — предвестница далекого дождя. Обогнув две дюжины домиков, дорога исчезала в красном песке, среди колючек сухой, росшей отдельными кустиками травы. В тени эвкалипта на краю

деревни человек сбросил с уставших плеч рюкзак и решил ждать попутной машины с севера. Тишину жаркого воздуха нарушал лишь пронзительный скрип ветряных мельниц, которые качали воду.

Человек ждал, но желанное облачко пыли от едущей по дороге машины так и не появлялось. Он присел на рюкзак, закурил, снова встал, прошелся взад и вперед, впрочем не отходя далеко от перекрестка. Путешествуя на попутных машинах, человек всегда должен быть начеку. Неписанный закон требует, чтобы он стоял, словно улитка, со своим домом на спине, в любой момент готовый к появлению машины. Это часто смягчает сердца коммивояжеров на долгом пути от Виндхука до Кейптауна. Но за последние два часа мимо него прошли только три небольших фургона. Местные. Один, возможно, и подобрал бы его, не будь в его кузове темнокожего пассажира. Фермеру, видно, не хотелось унижать достоинство белого человека перед черным. «Его ферма, — подумал путешественник, — возможно, недалеко, и тогда я все равно застрял бы на пустынной проселочной дороге, не доехав до Оранжевой. Уж лучше постоять еще немного здесь».

К полудню человек уже хорошо изучил все окрестности: одна лавка, какое-то подобие гостиницы, вокзал из рифленого железа, новый гараж и крошечная почтовая контора. Вряд ли все это можно было назвать даже поселком. Около одиннадцати, когда из дома под железной крышей высыпали на пыльную дорогу дети, он понял, что здесь есть и школа. Даже две школы. Вторую он обнаружил за железнодорожной линией, где под раскаленным белым небом рассыпалось несколько маленьких домиков. Темнокожие люди, проходя мимо, приветствовали его на африканс, но между собой они болтали на своем щелкающем языке нáма, словно хлестали друг друга маленькими кнутиками. Этот язык коренных готтентотов можно услышать теперь разве лишь в глубинных уголках Южной Африки.

Возможно, что, постоянно путешествуя на попутных машинах и соприкасаясь со множеством людей, он научился распознавать добро и разбираться в выражении человеческих лиц. Здесь он увидел на лицах людей только удивление, потому что остановился в таком месте, где люди жили слишком далеко друг от друга, а движение на дороге было очень редким. А может, просто обитателям этой глухомани не приходилось видеть белого без машины?

В двенадцать тридцать учащихся школы для белых отпустили на ленч. Дети шли медленно, чтобы получше разглядеть его.

Мальчик лет одиннадцати-двенадцати приблизился к эвкалипту, под которым стоял человек, и начал кружить позади него в запыленном саду с ветряной мельницей. Он уже дошел до цементного резервуара для воды у забора, когда на веранде появилась крупная решительная женщина и крикнула:

— Дёви, иди поешь!

Вряд ли в такую полуденную жару появится какая-нибудь попутная машина, подумал человек, и тоже решил поест. Он открыл свой рюкзак — вяленое мясо, нарезанное узкими полосками, хлеб, банку консервированных персиков, на которой красовалась этикетка с изображением плодородной горной долины на Западном мысе. Человек смял в руках пустую жестянку и встал, чтобы сунуть ее под грудку камней. Однако, к его удивлению, это была не просто грудка камней. Это было нечто совсем другое, и куда более интересное. В старом полуразрушенном цементном резервуаре для воды дети устроили сад из разноцветных стеклышек, черепков, катушек из-под ниток, камешков, жестянок и обломка крыла ветряной мельницы! В зеленой с отбитым горлышком бутылке красовалась увядшая гвоздика. Белые и красные гладкие камешки имитировали другой, более долговечный цветок.

Кто же «вырастил» с такой любовью этот трогательный сад? Бедные темнокожие дети, чье воображение не было подавлено шикарными магазинными игрушками? Этот игрушечный сад показался человеку еще более привлекательным, когда он увидел, что рядом с ним дети построили в песке и маленький резервуар для поливки.

Путешественник не рискнул надолго оставлять без присмотра свой рюкзак и поспешил назад, под тень эвкалипта. И тут он увидел, как из дома с подносом в руках выходит мальчик. Кофе. Но гостеприимство женщины не ограничилось одним только кофе — на подносе стояли еще сахарница и молочник... Очевидно, женщина не сочла его за бродягу. Это не могло не вызвать в нем чувства благодарности и некоторого недоумения. Мальчик подошел к нему и робко протянул поднос.

— Это мне?

— Мама сказала, что я должен отнести это дяде.

— Большое спасибо, но это, право, лишнее. Маме не стоило так беспокоиться.

Мальчик стоял в той же позе, протягивая ему поднос, и тогда он налил в кофе молока и положил сахару.

— Передай маме мою благодарность.

Мальчик кивнул головой, копнул босыми пальцами ноги горячий песок и посмотрел в сторону, но потом перевел взгляд на него. Робость сохранялась лишь в позе, а из-под коротких жестких волос смотрели чистые и живые глаза. Любопытные? Нет, скорее выжидающие и почти беспристрастные, словно ожившие бусинки. «Похоже, он ждет от меня, что я начну пускать дым из ушей или выкину какой-нибудь трюк в этом роде», — весело подумал человек и спросил:

— Как тебя зовут?

Мальчик понимал, что вопрос этот задан просто так, от нечего делать, но важно ответил:

— Девн, дяденька.

— А меня зовут Леон.

И, чувствуя, что это будет уместно, Леон рассказал мальчику, как проходит его путешествие из Уолвис-Бей в Кейптаун, где он живет, что добирается он на попутных машинах, так как хочет своими глазами посмотреть и Бушменленд<sup>1</sup> и Намакваленд<sup>2</sup>, а через реку Оранжевую ни поездом, ни автобусом не переедешь. Ставя на поднос пустую чашку, Леон чувствовал себя как ученик, только что сдавший экзамен. Маленький Девн унес посуду домой и сразу вернулся, но на этот раз остался у ограды во дворе. Так он стоял — весь с головы до ног олицетворение вежливости.

Леон присел на корточки, потому что, не возвышаясь над ребенком, было удобнее разговаривать.

— В каком классе ты учишься, Девн?

— В третьем, дядя.

Леону пришлось задать мальчику много вопросов о нем и о его делах раньше, чем Девн решился взять инициативу в свои руки.

— Здесь проходит мало машин. Только иногда их бывает побольше.

Леон рассмеялся:

— Да я и сам это вижу. Просто терпенье может лопнуть. Но если я не дождусь машины до вечера, поеду ночным поездом в Аппингтон.

Он посмотрел вокруг на бескрайний простор, такой же бесконечный и пустынный, как небо, и снова, чтобы прервать молчание, спросил:

---

<sup>1</sup> Бушменленд — район, населенный бушменами.

<sup>2</sup> Намакваленд — район, населенный готтсентотами.

— Деву, а ты сам когда-нибудь был в Кейптауне?

— Нет, дяденька, я был в Кетмансхоне.

Деву из вежливости больше ничего не сказал, и опять Леон ощутил, что ребенок полон ожидания. Может быть, он хочет услышать о жизни за пределами его родной деревушки? Часто ли у него выпадает случай поговорить с незнакомым человеком?..

Как отнесется к этому его мать, подумал Леон, увидев появившуюся на веранде женщину. Но ее беспокойство — если она действительно его испытывала — не пошло дальше того, чтобы дать черному, как уголь, африканцу какие-то указания насчет сада. Отрывисто. Резко. Леон, узнав, что отец маленького Деву владеец местной лавки, спросил, указывая на африканца:

— А как его зовут?

Мальчик оглянулся.

— Да это просто наш кафр, — вежливо, но как будто речь шла о собаке, ответил он.

Леон невольно опустил глаза и, схватив палку, стал неслучайными движениями что-то чертить на песке.

— А у него что, нет имени? — наконец спросил он.

— Есть, дядя. Мы зовем его Пайет. Кафр Пайет.

Леон выронил палку, потом нашарил ее опять. В голосе его слышалось волнение, когда он спрашивал об этом человеке из племени авамбо, жившем в тростниковой хижине, отдельно даже от цветных.

— А у тебя много друзей, с кем бы ты мог играть? — наконец снова спросил Леон.

Как раз в это время, стараясь не глядеть в их сторону, дорогу переходили два маленьких темнокожих мальчика. Это их он имел в виду, когда задал свой вопрос.

— О, конечно, дядя. Двадцать мальчиков из нашей школы живут в пансионате и уезжают домой только на праздники.

— А с кем же ты играешь тогда, Деву?

— А тогда я играю с цветными... Мы ходим с рогатками охотиться на ящериц... и мы...

— Деву, пора в школу, сейчас зазвенит звонок, — прервал его голос матери.

Мальчик поспешно ушел, а Леон так и остался сидеть на корточках. Наконец он поднялся, опираясь на палку, глубоко уходящую в красный песок под его тяжестью.

Полчаса спустя по дороге прошел еще один грузовик с тем-

покожими батраками в открытом кузове. Трое белых в кабине и водитель не обратили внимания на поднятую руку Леона.

Вскоре широким кругом обогнули дом козы, позванивая колокольчиками, за ними — стадо тощих каракульских овец, пастух и две собаки. Затем проследовала остальная часть переселенцев в низкой, на резиновых колесах повозке, жалком подобии фургона, которую вместо волов тащили ослы. Из-под брезентового верха виднелись скудная мебель, изнуренное женское лицо и куча детишек. Они смотрели прямо перед собой, покрикивая на ослов, едва перебиравших ногами. Замыкал шествие мужчина с унылыми глазами — он ехал в старом фургоне, доверху нагруженном бочками: в них, наверное, была вода для несчастных животных. Изнуренная жарой и жаждой процессия медленно проплыла мимо Леона к югу и скоро скрылась в клубах пыли.

Леон подавил в себе наплывшие было воспоминания о сотнях подобных переселенцев с печальными, истощенными лицами, вынужденных по всей Африке возвращаться на юг, где их предки, как рассказывают, не испытывали такой нужды в воде и отличались большой уверенностью в себе. Перебираясь с места на место, он много раз слышал от людей жалобы на засуху, но только сейчас увидел своими глазами, как она выглядит в действительности.

Ах, эта бесценная вода, подумал Леон, как не хватает ее африканцам!.. Даже самые добрые и отзывчивые люди в этих местах становятся черствыми, отказывая проезжающим в воде. Ведь им приходится думать прежде всего о собственных животных.

Вода! Он вспомнил о кирпичевых, как пиво, горных потоках в Кейптауне, где он родился, и словно опять перенесся в дни своего детства. Вот он, двенадцатилетний мальчик, плавает со своими сверстниками в глубокой холодной заводи между заросших тростником берегов, и снова он почувствовал, как его захлестывает ярость и возмущение, придавая силу рукам и ногам, когда он плывет, чтобы догнать маленького Ханси и, толкая, заставить его обратиться отсюда вниз по течению.

В тот год, когда Ханси со своей чересчур уж курчавой головой появился в их школе, среди учеников прошел слух, что он полукровка, но в воде тела всех ребят казались одинаково бледно-коричневыми.

«Эй ты, ублюдок, тебе здесь не место!» — кричал Леон, заталкивая Ханси под воду каждый раз, как он показывался на поверхности. Ему хотелось во что бы то ни стало прогнать Ханси

в другой пруд, пониже, где иногда купались туземные мальчишки, голые, как головастики.

Затем, наслаждаясь одобрительными возгласами друзей, Леон хвастался перед ними. И голос помимо его воли звучал решительно и властно: «Ну и задал же я этой скотине!»

Через неделю маленький Ханси исчез из белой школы, словно бы действительно утонул.

Вода... Воспоминания захлестнули его, и он, словно в зеркале, увидел исказившееся от обиды и боли лицо Ханси и его горячие соленые слезы, стекающие по мокрому лицу в воду...

Леон услышал школьный звонок и увидел, что стоит на краю выжженной, пустынной дороги. Около квадратного здания на другой стороне, из которого выбегали дети, он заметил Деви в кругу школьников, поглядывавшего в его сторону.

Измученный тяжелыми воспоминаниями, Леон подумал: «Как могу я осуждать его, ведь в его годы я и сам был не лучше!»

Попутных машин все не было, и Леон снова стал нетерпеливо ходить взад и вперед около рюкзака, удерживающего его подобно якорю. Чем скорее покинет он это место, эту жизненную неустрашенность на безграничной, голой, красной равнине, тем будет лучше! Ему уже осточертели эти ненасытные деревья, высасывающие из земли солоноватую воду. Но когда этот мальчик с милым и полным ожидания лицом снова, как он и полагал, подошел к нему, Леон опять присел на корточки со своей неизменной палкой в руке и стал не спеша выводить на песке буквы, как бы подкрепляя ими свои слова.

Почувствовав, чего именно ждет от него маленький человек, Леон начал увлеченно и красочно рассказывать о юге, об огромном городе, о море и о горах, которые прекраснее любого сада. Он давно не встречал такого внимательного слушателя.

Чтобы вызвать на серьезном личике улыбку или, может быть, одобрение, он написал на песке большими буквами «Деви».

— Вот здесь, на этом месте, где сейчас написано твое имя, Деви, — сказал он, — с тобой обязательно произойдет что-нибудь приятное.

Леон отвернулся, сделав вид, будто слышит шум приближающейся машины, а когда мальчик вслед за ним тоже повернул голову, Леон быстро закопал в песок монетку. Когда он стер написанное имя, монетка ярко блеснула на солнце.

— Это твоя, — сказал удивленно Леон. — Вот видишь, я же говорил тебе.

Девн поднял монетку. Хотя лицо его было радостным, выражение вежливости и серьезности не покидало его.

«Я обманул его, — подумал Леон, вычерчивая на песке теперь уже свое имя: «Леон». — Но чего я хочу? Видимо, одного — чтобы поскорее появилась какая-нибудь машина и подобрала меня».

Рука, чертившая на песке, остановилась. Имя было написано. Мальчик молча смотрел на него. Он не спрашивал, почему дядя не копает глубже, чтобы достать еще одну монетку. «Он понял, что я обманул его», — подумал Леон и снова взглянул на дорогу. К ним приближалось облачко пыли. От удивления Леон даже не сообразил, что надо встать, и продолжал сидеть на корточках. А машина шла по дороге на юг. Это был большой американский автомобиль, пустой, с одним лишь водителем за рулем. Леон ясно видел кейптаунский номер на табличке и взгляд, который человек за рулем кинул на него и на рюкзак. Но Леон не вскочил и не поднял руки. Машина промчалась мимо, оставляя за собой клубы пыли на жесткой траве и низком кустарнике.

Пораженный своим поведением, Леон мысленно спросил себя: «Почему я не остановил его?» Недоумевающее лицо мальчика казалось печетким, как будто он смотрел на ребенка через слишком далеко отставленную линзу. Он услышал собственный голос, который не спрашивал, а просто сообщал: «Эта машина едет в Кейптаун».

«Почему? Почему?» — продолжал он думать, стараясь улыбнуться.

— Он не остановился, — сказал Леон, глядя на мальчика так, как будто в нем можно было найти объяснение происшедшему.

Но Девн был скуп на слова, ни разу он не обратился к нему с вопросом. «Он ждет, чтобы я заговорил, — подумал Леон с чувством растерянности, — не может начать разговор раньше взрослого». Леон вспомнил о своей палке и начал снова царапать ею жесткую, сухую землю. Маленькие, тоненькие бороздки тут же заполнялись красным сыпучим песком.

«Может, мне следует остаться здесь? — промелькнуло в голове у Леона. — Бросить в душу Девн доброе зерно, чтобы он понял, что уважения достоин каждый человек? Но чего сможет он добиться без проповедей, без обмана, без принудительного навязывания своих идей? И какое право имеет он, случайный прохожий, нарушать привычный образ жизни других людей?» Чтобы отогнать от себя эту мысль, Леон быстро вскочил на ноги.

Нахмурившись, он взглянул в раскаленное добела небо. Мгнкий, чуть золотистый отблеск уже предвещал наступление вечера.

— Только половина четвертого, — сказал Леон, — до темноты еще далеко, а машин больше не будет.

Его взгляд упал на каменный сад в старом, потрескавшемся цементном резервуаре у изгиба дороги, и он невольно двинулся к нему. Мальчик последовал за ним.

— Что это такое, Деви?

— Это просто место, где играют маленькие готтентоты. Это их... игрушки.

— Как красиво! — воскликнул Леон и присел на корточки перед садом, спиной к дороге и своему рюкзаку, которые теперь уже не интересовали его.

Сотни следов копыт все еще свидетельствовали, что мимо этого прелестнейшего уголка проходили гонимые жаждой овцы переселенцев. Этот маленький садик из осколков камней, кварца и стекла, чудесно отражающий сверканье воды, сложен темными детскими ручками, снующими, подобно ящерицам, на солнце. В центре его красовался большой цветок, выложенный из полудрагоценных камней пустыни: розового кварца, тигрового глаза, лунного камня или как их там называют. Он тоже был искусственным, этот цветок, обманчивый и трогательно нежный.

— Пожалуй, этот сад красивее настоящего, — сказал Леон, — он даже красивее огромного парка в Кейптауне... Он даже лучше, чем дом или машина, — сказал вдруг Леон серьезно и начал рыться в карманах брюк. — Знаешь, Деви, дети, которые сделали этот цветок, заслуживают, чтобы и с ними на этом месте произошло что-нибудь приятное. Ведь они тоже, вроде тебя, написали здесь свои имена.

Он что-то бормотал, вытряхивая на ладонь мелкие деньги: несколько трехпенсовиков и шестипенсовиков и один шиллинг.

— Давай, Деви, помоги мне спрятать их под этими камнями.

Леон напряженно ждал, пока мальчик возьмет несколько монет и поможет ему закопать их под каменным цветком.

«Если то, к чему стремится человек, и обманчиво, все равно надо к этому идти», — подумал Леон с явным облегчением. И тут ему в голову пришла совсем другая мысль.

— Деви, обещай мне никогда не рассказывать об этом туземным ребятишкам, ладно? Они должны найти эти деньги сами, совсем случайно, когда будут играть здесь, правда?

Белый мальчик молча кивнул, не глядя на Леона.

— А теперь давай разровняем песок и сделаем все, как было.

Каменный цветок снова засиял на своем прежнем месте. Деву встал, немного отступил назад. Леон тоже поднялся, выпрямился.

— Для них это будет удивительный сюрприз, ведь правда, Деву?

Мальчик снова молча, очень медленно кивнул, и Леон вдруг увидел, что чистые детские глаза уже почему-то больше ничего не спрашивали. Затуманенный и удивленный взгляд выражал глубокую задумчивость. «Не толкнул ли я его на дурной поступок? А вдруг он захотел взять эти деньги?» — подумал Леон с тоской.

Они вернулись на прежнее место, к краю дороги, где лежал его рюкзак. Леон пытался еще что-то говорить, но почувствовал во рту горьковатый привкус... «Что он думает обо мне?» — размышлял он, так как видел, что какой-то период отношений между ними завершился — мальчик потерял к нему интерес.

Свет, безмолвие и покой повисли в неподвижном предвечернем воздухе. Машин не было видно даже на горизонте.

Когда глаза Деву перестали наконец блуждать по каменному саду и мальчик перевел взгляд на забор дома, Леон перекинул рюкзак за спину и сказал:

— Ну, Деву, становится уже поздно, а попутной машины как будто не предвидится. Наверное, нам пора прощаться. Пойду на станцию, куплю билет на вечерний поезд. Прощай, Деву, дружок!

Протянутая рука повисла в воздухе, будто прося прощения.

— Да, дядя, до свидания, дядя.

Леон увидел, как робко побрел маленький мальчик домой, словно... словно на него вдруг навалилась огромная, непосильная тяжесть. Леон смотрел теперь только вперед. Скорее, скорее покинуть это забытое богом место!..

Да, есть один билет на девятичасовой поезд, сказали ему на полуразвалившейся станции, он может подождать в гостинице или в баре.

Леон прошел в бар, заказал холодного пива. Медленно потягивая освежающий напиток, думал: «Горе-моралист, решил учить других людей... А чему ты сам научился у Деву?» К его удивлению, из пены в кружке пива всплыл ответ: нужно принимать все, как оно есть, — бессилие и обман, неверие и надежду, иначе кружка пива и железнодорожное полотно станут просто средством ухода от проблем реальной жизни.

Он усмехнулся, попросил еще вина, поговорил с барманом и каким-то фермером с красными руками и маленькими, слепыми два голубых кружочка в глубоком колоде, глазами, перешлившись несколькими фразами с инженером, рискующим приехать в юга на постройку первой плотины в этих засушливых краях.

Леон вынул несколько монет и сложил их на прилавке и под цветка.

Потом он вдруг резко встал, бросил рюкзак у железнодорожной станции и ринулся обратно мимо домов, мимо последнего дерева...

Его ноги скользили по камням, утопали в песке, приминали кустики колючей травы, едва заметной в темноте. В далеком ночном небе ярко мерцали хаотически разбросанные звезды. Внутри него кипели ярость, любопытство и нетерпение, ведь это он, он сам подверг маленького Деву страшному испытанию. Надо как можно скорее, до прихода поезда, забрать деньги.

Часто и тяжело дыша, он наклонился над каменным садиком в старом резервуаре для воды. Нужно быть внимательным, точно вспомнить, куда он положил деньги, и не сломать прекрасный каменный цветок. Двумя пальцами нажал он на песчаную горку, ощупью пошарил под остывшими прохладными камнями. Слава богу, деньги на месте, значит, Деву не...

И вдруг он невольно отдернул руку и еще больше наклонился вперед. Глаза его расширились. От каменного цветка исходило странное мягкое сияние. Осколки стекла и камни отливали лунным светом, розовый кварц и тигринный глаз краснели, как бы оживая. Сияние усиливалось, становилось все более ярким. Суеверный восторг овладел Леоном, он подумал: каменный цветок просыпается, он ожил. Только тогда он заметил, что на другом краю резервуара тоже мерцает свет. Посмотрев налево, Леон увидел на расстоянии нескольких миль огненный глаз локомотива, освещающий пустынную, голую равнину. Поезд шел к станции по прямой линии и был еще так далеко, что Леон не мог ни слышать его грохота, ни видеть, как разрастается его огни.

Леон оставил каменный цветок в сияющем серебристом саду, спокойно поднялся и пошел обратно на стацию. Только теперь он по-настоящему осознал, что чудесный свет исходил не от каменного цветка, а от огней поезда. Однако радостное волнение не покидало его. Теперь все в порядке. Деву на первом пути. Камни превращаются в цветы, жизнь древнее жестикирует.

БОГАТСТВО ОТВЕРЖЕННЫХ



Когда мне было лет девять, я нашел себе довольно приличную работу в Софитауне, в автобусном парке на улице Гуд-стрит. Эту работу я взял на себя добровольно. Не спрашивая ни у кого разрешения, я подметал жестким веником автобусы, когда они возвращались в парк. На ночь я устраивался спать на заднем сиденье.

Нужно было забраться именно в последний автобус, потому что утром его отправляли позже других. Он приходил около двенадцати часов ночи, я свертывался калачиком на заднем сиденье и засыпал.

Первый автобус уходил в рейс в четыре часа утра. Я просыпался и занимал пост на перекрестке улиц Гуд-стрит и Мейн-роуд, поджидая двуколку с хлебом. Всегда в одно и то же время раздавалось цоканье лошадиных копыт по гудронной дороге, с каждой минутой оно становилось ближе. Так повторялось изо дня в день. Везли свежесыпеченный хлеб для белых жителей Ньюлэнда. Я прятался за один из столбов у магазина и не спускал глаз с возницы. Едва я замечал, что внимание его переключалось на дорогу, я выскакивал из укрытия и прыгал на заднюю ступеньку повозки. Иногда я продолжал ехать на пей, свесив босые ноги и наслаждаясь ощущением движения.

В то утро я был слишком голоден, чтобы позволить себе ба-ловство. Я, как всегда, вскочил на подножку, схватился рукой за крюк, но он не поднимался. Тут я заметил, что повозка недавно выкрашена и свежая краска плотно приклеила крюк. Нужны были руки посильней моих, чтобы поднять его.

Минуту-две я боролся с проклятым крюком и вдруг почувствовал, как он, словно по волшебству, поднялся сам собой. Оказывается, за него ухватились чьи-то руки и откинули его без всякого усилия.

— Прыгай! — крикнул незнакомец.

Я так и сделал. Мы отступали по Мейн-роуд, таща под мышкой четыре буханки свежего хлеба.

Когда мы вернулись к тому месту, где незнакомец помог мне, он остановился и задумчиво оглядел меня.

— Ты где живешь?

Я пожал плечами:

— Нигде.

— А где же ты спишь?

— В автобусном парке на Гуд-стрит, на заднем сиденье последнего автобуса.

На лбу незнакомца виднелось странное углубление, и кожа в этом месте непрерывно пульсировала, то поднимаясь, то опадая — как при дыхании. Человек стоял в нерешительности, очевидно не зная, что предпринять, но в это время с удалявшейся двуколки раздался крик, и незнакомец словно преобразился. Удирая, мы забыли закрыть в повозке дверцы, они хлопали на ходу, и кто-то из прохожих, должно быть, сказал об этом вознице.

— Сюда! — крикнул мой вновь обретенный покровитель.

Он на животе, словно краб, прополз по земле и исчез в водосточном люке.

Я все еще колебался, когда почувствовал на лодыжке его сильную руку. Это решило мою судьбу. Я тоже лег на живот и пополз вслед за ним. Мы проползли всего несколько ярдов, и вдруг он опять исчез. Если бы он вовремя не схватил меня, я свалился бы головой вниз в глубокий туннель. Здесь царила крошечная тьма, даже на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Хорошо, что здесь, по крайней мере, можно было стоять.

— Иди за мной и держись за стену.

Так мы прошли примерно с милю, потом вдруг остановились. Он взял меня за руку, и мы поднялись на четыре ступеньки.

Здесь ему пришлось пригнуться, но я мог стоять выпрямившись.

Так я встретился с человеком, взявшим на себя ответственность за мою дальнейшую жизнь. Это была собачья жизнь, но все же жизнь.

Я услышал, как он пошарил в кармане, достал коробок, чиркнул спичкой. Пламя чуть не ослепило меня. Откуда-то появилась лампа. Он зажег фитиль. Я раскрыл рот от изумления. Мне показалось, что я попал в пещеру, где живут Али-Баба и сорок разбойников, только о той пещере рассказывалось в сказке, а эта была настоящей.

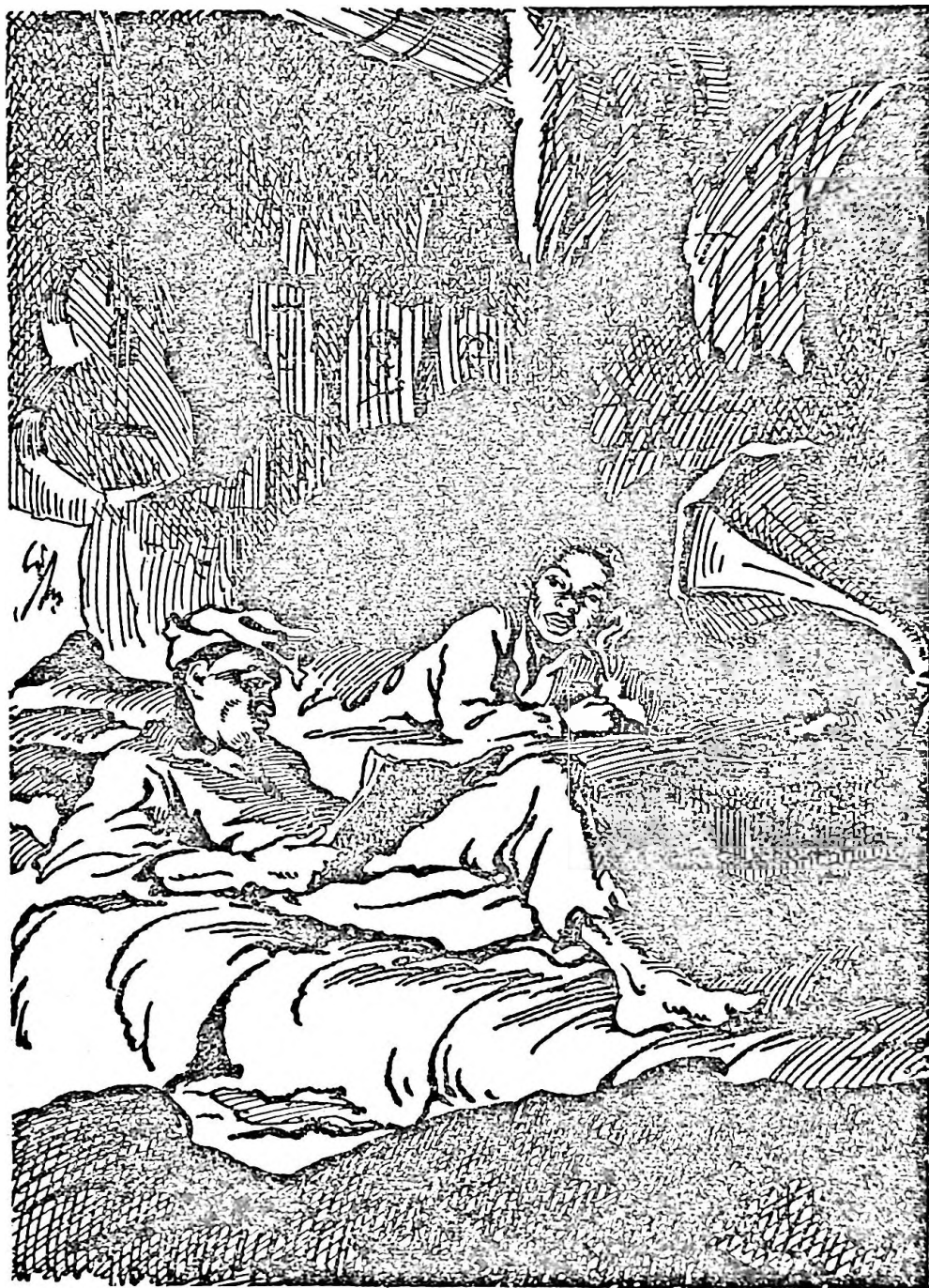
Стены были сплошь облеплены картинками из жизни знаменитого ковбоя Тома Микса. Прямо на полу набросаны простыни, наволочки, дамское и мужское белье — все сырое, как будто только что снятое с бельевой веревки. В одном углу валялась тачка, в другом — граммофон и пластинки, заплесневевший свадебный пирог, полицейская каска, керосинка, кастрюльки, половчанная копилка, гитара с тремя струнами. Над входом красовалась подкова, прибитая сюда, чтобы преградить путь злым духам.

Но все это было, конечно, ничто по сравнению с граммофоном, от которого я не мог оторвать глаз. Хозяин, должно быть, понял меня, потому что подошел к граммофону и поставил пластинку. Я огляделся и увидел, что коллектор образовывал букву «У», расходясь под острым углом в двух направлениях. Вода не попадала сюда, потому что хозяин закрыл вход в свой туннель цементной плитой, и теперь оба потока направлялись в главный коллектор по одному туннелю. К тому же мы находились на три фута выше главного коллектора.

Послушав пластинки, мы позавтракали, а потом мой новый отец стал знакомить меня с многочисленными малыми туннелями, которые, начинаясь в разных местах Софитауна, вливались недалеке отсюда в главный коллектор. Он учил меня, каким туннелем и когда лучше пользоваться, а какого вообще стоит избегать, куда эти туннели ведут и что делать в случае дождя.

Я смотрел на своего покровителя с благоговейным трепетом, когда он мне все это объяснял. Путешествие по туннелям походило на странную игру со змеями. Змеи жадно заглатывали нас, а мы проползали через их утробу и снова оказывались в своем подземном доме, нагруженные украденными по дороге вещами. И никто не сидел у нас на хвосте.

Мой «отец» был таким низкорослым, что даже трудно было определить его возраст. Что-то между двадцатью и сорока.



Родители дали ему имя Га-га, но из-за кривых ног люди прозвали его «Крючок». Я, естественно, попросил у него разрешения называть его настоящим именем — Га-га, это не напоминало бы ему о его кривых ногах. Но он возразил. В американских юмористических журналах, сказал он, словом «Га-га» называют сумасшедших. А он, мол, вовсе не сумасшедший.

Я уже говорил, что у него на лбу зияло огромное углубление, на которое было страшно смотреть. Оно было настолько большим и глубоким, что в него, пожалуй, свободно уместился бы теннисный мячик. «Отметинка от лошадиного копыта», — пояснил мне «отец». С тех пор и по сей день я боюсь лошадей.

«Крючок» был сотворен из одних пороков. Но он был скорее пакостником, чем опасным человеком. Ему, например, ничего не стоило заставить выругаться самого набожного человека или отобрать деньги у ребенка, посланного родителями в лавку. Думаю, что, проходя через поле, он не упустил бы случая поджечь траву или сено. Во всяком случае, где бы он ни появлялся, он оставлял после себя разрушение и горькое чувство обиды. Дружба с ним не способствовала улучшению моих отношений с ребятами Софитауна, точно так же, как и с владельцами магазинчиков на Мейн-роуд. Кажется, имелась даже договоренность о выдаче премии за пашни головы.

Однажды утром я лежал, вытянувшись на животе и подплевывая грязными ладонями щеки, слушал граммофон. Джимми Роджерс под аккомпанемент гитары пел песенку «В ожидании поезда». Когда я впервые услышал ее, то упивался музыкой, словно алкоголик вином. Я, должно быть, всюду раз мечтался. О чем? Бог его знает. Помню только, что мечтал.

«Крючок» поднял глаза от своего юмористического журнала и сказал:

— Эй, очнись!

— Что? — не понял я.

Он ткнул толстым испачканным в варенье пальцем в журнал и спросил:

— Как ты думаешь, эти краснокожие индейцы поймают его?

— Да, у него нет никаких шансов, — поспешил я ответить, чтобы поскорее заставить его замолчать.

Мой «папочка» радостно хихикнул, как ребенок, которому дали покататься на пони. Пока с ним соглашались, все обходилось мирно, а мне не хотелось затевать с ним перебранку, особенно сейчас, когда я слушал такую пластинку.

Однако счастье не может продолжаться вечно. К человеку

приходят и горькие дни. Мой «отец» нечаянно раздавил мою любимую пластинку. Начались кошмарные поиски такой же другой. Я воровал их бесчисленное количество, но все попадал не в ту. Я бы избавил себя от лишних хлопот, а лавочника-еврея от убытков, умею я читать, но это, увы, мне не было дано. Поиски продолжались так долго, что я уже начал сомневаться, есть ли в велосипедной лавке старого еврея хоть одна нужная мне пластинка.

К счастью, воля у меня была столь же стойкой, сколь незаживающие глубокие трещины на моих грязных пятках. Я почти не выходил из этой лавки, словно она была моей собственностью. Наконец я получил пластинку, а вместе с ней и шесть месяцев исправительно-трудовой колонии для малолетних.

«Отец» задал мне изрядную взбучку, едва я вышел из колонии — как это я посмел воровать пластинки, а не еду!

На следующее утро я, как всегда, выполз из нашей норы на охоту за хлебом насущным. Вернулся я домой с добычей, но за время моего отсутствия граммофон исчез. «Отец» продал его, считая, что музыка меня портит. Я почувствовал себя так, словно мне переломили хребет. Нутро мое ныло от голода, но я взял только гитару и без сожаления навсегда покинул тупнель в надежде обрести счастье где-нибудь в другом месте этого изменчивого, полного неожиданностей мира.

Скитался я недолго. Скоро меня приняли в цирк... мыть ноги слонам. Порою у меня возникала мысль: кому следовало бы вымыть ноги в первую очередь — слонам или мне? Но за мытье моих ног мне никто бы не заплатил, поэтому я решил не утруждать себя.

Вместе с цирком я приехал в Кейптаун, где впервые увидел море. Там я привязался к группе бродячих артистов под названием «Веселые парни». В этой группе был гитарист, игравший почти так же, как мой любимый Джимми Роджерс. Я не отходил от него ни на шаг. Мы были с ним неразлучны. Я таскался за ним, как преданный щенок. Он пользовался моей привязанностью как только мог, ежедневно посылал в город подбирать для него окурки и пустые бутылки. За восемь пустых бутылок он мог получить одну полную в любой винной лавке. В награду он научил меня брать несколько аккордов на гитаре.

Пока я был занят поручениями моего друга, цирк уехал из Кейптауна. Меня это не огорчило. Я был сыт по горло ногами слонов и подзатыльниками вместо денег. Мне и так уже стало казаться, что стоит еще какое-то время помыть ноги слонам —

п эта работа вызовет у меня на всю жизнь отвращение к мытью собственных ног.

Мне нравился Кейптаун, потому что ночлег здесь не был проблемой. Я мог спать где заблагорассудится: в коридорах, на ступеньках лестниц, на балконах — всюду. Я просто жил, и жил, и жил. Моя жизнь была настолько беспечной, что я даже начал сомневаться в существовании колонии в этом прекрасном городе. Однако вскоре меня арестовали за попытку украсть у кондуктора сумку с деньгами.

Проклятый пож оказался слишком тупым, иначе я бы наверняка сделал свое дело и был таков. Я схватил свисавшую с плеча на кожаном ремне сумку левой рукой, а правой резанул по ремню, но нож не разрезал ремня с одного удара. Белый кондуктор схватил меня за руку, я дернулся, забыв о ремне, и саданул ему ножом по руке. И странное дело: нож, который не сумел разрезать ремень, порезал руку.

Неудачная попытка стоила мне двух лет колонии «Токай» в Кейптауне. Работа, которую меня заставляли там делать, дала мне возможность освободиться раньше срока. Мы плели рыболовные сети. Мои проворные пальцы оказались настолько искусными, что уже через год меня отличили. Я стал бригадиром. Именно в это время я и узнал о рефрижераторе, перевозившем рыбу. Это был самый быстрый поезд на всей железной дороге. Чтобы рыба не испортилась, он мчался без остановки от Кейптаунских доков до Йоганнесбурга, если не считать короткой заправки водой в Блумфонтейне.

Возможно, мне уже надоедало плести сети или дело было в том, что я узнал о рефрижераторе, сейчас я боюсь утверждать что-либо точно, но в один прекрасный день вместо сетей я стал плести веревочную лестницу. При этом красшком глаза я не забывал следить за тюремной стеной.

С тех пор прошло уже много лет, но в ушах моих до сих пор стоит пронзительный вой полицейского свистка, когда я вспоминаю свой побег из «Токая». Подняли на ноги всю полицию, словно ловили закоренелого рецидивиста, а не одиннадцатилетнего мальчика.

Семь дней спустя после моего побега из колонии один полицейский сказал другому:

— Перепрыгни через него на ту сторону и займись пальцами на левой руке, пока я буду орудовать с правой.

Вокруг собралась толпа зевак. Я сидел на буфере между двумя вагонами, уцепившись руками за железную решетку рефрижератора. Белый полицейский с правой стороны чертыхался и громыхал проклятиями, пытаясь отодрать мои заочевшие пальцы от решетки. Было нестерпимо больно. Полицейский с левой стороны оказался добрее.

— Может, зажечь паяльную лампу и растопить лед на пальцах этого гаденыша?

— Не стоит, он ведь их отморозил.

— Не понимаю, как этого ублюдка угораздило влипнуть в такую историю?

Он вдруг неожиданно резко дернул, и моя правая рука оказалась на свободе. Кровь хлынула из пальцев, из глаз брызнули слезы. Ногтя на мизинце как не бывало.

— Давай отдирай так же левую, мы не можем терять столько времени с этим выродком.

— Подожди, остался только большой палец.

Полицейский стукнул дубинкой несколько раз по железной решетке, лед треснул и отскочил, освободив мой большой палец. Они оттащили меня от вагона. Мои ноги отказывались стоять, но полицейский быстро привел их в порядок с помощью той же дубинки.

— Эй, черномазый!

— Да, баас!

Он зло посмотрел на мое запачканное грязью, заплаканное лицо.

— Какого черта ты делал на этом поезде?

— Хотел убежать, баас.

— Это мне известно. Я тебя спрашиваю, как ты оказался между двумя вагонами, полузамерзший?

— Ехал домой, баас.

— Домой? Откуда?

— Из Кейптауна, баас.

— Из Кейптауна? Ты хочешь сказать, что вот так ты ехал тысячу миль из самого Кейптауна?

Да, я ехал на этом поезде из Кейптауна, баас.

— Где ты живешь?

В Софитауне, баас.

Улица?

Гуд-стрит, баас.

— Номер?

— Номера нет, баас.

- Как так без номера?
- Это автобусный парк, баас.
- Ты что же, спишь в этом парке?
- Да, баас. На заднем сиденье последнего автобуса.
- На заднем сиденье последнего автобуса?
- Да, баас.
- Его надо отправить к работникам опеки.
- Только не к ним, баас.
- Это еще почему?
- Несколько лет назад они сказали, что у меня голова не в порядке.
- Что, что?
- Голова не в порядке, баас.
- А у тебя что же, часто болит голова?
- Да, баас.
- Сколько тебе лет?
- Одиннадцать.
- Неужели одиннадцать? — в один голос воскликнули полицейские.

Когда они волокли меня сквозь поредевшую толпу, я вытащил из кармана кусок черствого хлеба и, не обращая ни на кого внимания, начал есть. Мне было все равно, что со мной собирались делать, ведь я вернулся домой.

Родные камни — единственное богатство отверженных. Меня опять посадили и выпустили только тогда, когда убедился, что я достаточно взрослый, чтобы самому заботиться о себе. А я бы вполне и раньше мог заботиться о себе, если бы полиция не вмешивалась в мои дела.

## Содержание

**Юрий Нагибин**

ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . 3

**Питер Абрахамс**

ОТРОЧЕСТВО (из романа «Пароль: «Свобода!») *Перевод А. Клышко* . . . . . 5

**Алекс Ла Гума**

КУДА ДЕРЖИШЬ ПУТЬ, ПАРЕНЬ? *Перевод В. Коткина* 17

**Алекс Ла Гума**

КОФЕ В ДОРОГУ. *Перевод В. Коткина* . . . . . 23

**Джеймс Мэтьюз**

ПАРК. *Перевод К. Чугунова* . . . . . 34

**Алан Пэйтон**

СПАЙК. *Перевод В. Коткина* . . . . . 45

**Алан Пэйтон**

ХА-ПЕННИ. *Перевод В. Коткина* . . . . . 53

**Артур Мейман**

НАЗЫВАЙ МЕНЯ «МИССИС». *Перевод В. Коткина* . . . 59

**• Дан Джекобсон**

ЯЩИК. *Перевод В. Коткина* . . . . . 68

**Ричард Рив**

СКАМЕЙКА. *Перевод В. Коткина* . . . . . 76

**Дэвид Кросс**

ДЕВОЧКА В КРАСНОМ ПЛАТКЕ. *Перевод Ю. Хазанова* 84

**• Джек Коуп**

ДОРОГА НА СЕВЕСТРУМ. *Перевод В. Коткина* . . . . . 95

**• Джек Коуп**

БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО. *Перевод Г. Голованева* . . . . . 109

**• Уильям Модисейн**

МОЙ ОТЕЦ ДЖОЗЕФ. *Перевод В. Коткина* . . . . . 124

**• Гарольд Копс**

ГОРОЖАНИН. *Перевод В. Коткина* . . . . . 136

**Робинсон Матселе**

КОСТЮМ ДЛЯ КОНЦЕРТА. *Перевод В. Коткина* . . . . . 145

**Ян Рейби**

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. *Перевод В. Коткина* . . . . . 153

**Дагмор Ботье**

БОГАТСТВО ОТВЕРЖЕННЫХ. *Перевод В. Коткина* . . . 164

Для среднего и старшего возраста

**ПАРОЛЬ: «СВОБОДА!»**

*Составитель*

*Валентин Семенович Коткин*

ИБ № 5774

Ответственные редакторы

**С. К. Беркиан и Т. И. Рудякова**

Художественный редактор

**Т. М. Токарева**

Технический редактор

**М. А. Кутузова**

Корректоры

**Л. И. Дмитриук и Ю. В. Дубовицкая**

Сдано в набор 21.10.83. Подписано к печати 12.03.84. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать писона. Усл. печ. л. 10,23. Усл. кр.-отт. 11,45. Уч.-изд. л. 9,31. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3980. Цена 50 коп. Орденом Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

**К ЧИТАТЕЛЯМ**

*Издательство просит отзывы об этой  
книге присылать по адресу:  
125047, Москва, ул. Горького, 43.  
Дом детской книги.*

**П18**      **Пароль: «Свобода!»:** Рассказы писателей  
ЮАР / Пер. с англ.; Состав. В. С. Коткин; Предисл.  
Ю. Нагибина; Рис. Г. Акулова. Перевзд.— М.: Дет.  
лит., 1984.— 174 с., ил.

В пер.: 50 к.

Сборник рассказов прогрессивных писателей Южно-Африканской Респуб-  
лики, выступающих с гневным протестом против расистского режима белых коло-  
низаторов и отстаивающих право коренного населения на свободу. Книга награждена  
медалью имени Джейн Адамс в 1979 году в ознаменование Международного года  
ребенка.

П 4803020000—273 043—84  
M101(03)84

И (Афр)

